



Чужая жена
для дракона.
Исправление

Александр Витальев

Александр Витальев

**Чужая жена для
дракона. Исправление**

«Автор»

2026

Витальев А.

Чужая жена для дракона. Исправление / А. Витальев —
«Автор», 2026

Год назад драконий лорд Варден публично выставил меня за порог ради фарфоровой невесты с безупречным родом, а свет записал меня не жертвой, а разлучницей, которая якобы увела чужого мужчину. Теперь, чтобы остановить скандал вокруг новой наследницы, он присылает за мной родовую печать и предлагает фиктивный возврат на три луны, а я соглашаюсь, потому что мне нужна не любовь, а доступ к его архиву, где спрятан документ о моей настоящей семье. Он уверен, что держит меня в руках, пока я снова надену его кольцо, а я уже знаю, что под его публичной изменой скрывается чужая тайна, и она гораздо опаснее, чем он думает. Каждую ночь ритуал исправления клятвы сближает нас против воли, и теперь я не понимаю, кого наказывает старая печать: меня, его или ту женщину, которую он так и не назвал вслух. Вопрос прост: если этот брак снова разобьется, кто из нас останется без имени, крови и права дышать в его замке.

© Витальев А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Печать на ладони	5
Глава 2. Ключ от кухни	13
Глава 3. Ключ у двери	19
Глава 4. Печать на ладони	26
Глава 5. Письмо из архива	34
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Александр Витальев

Чужая жена для дракона. Исправление

Глава 1. Печать на ладони

Письмо лежало на столе, и я разглядывала его так, будто оно могло укусить. Пергамент был плотный, сургуч круглый, с гербом рода Ирт, оттиснутым так глубоко, что на обороте остался рельефный след. Я провела пальцем по печати и ощутила холод металла сквозь подушечку. Потом подняла край и перевернула.

Внутри лежала родовая печать, тяжелая, серебряная, с тремя зубцами и вмятиной от удара. Ее положили прямо на текст, и чернила под ней расплылись. Я отодвинула печать к лампе и начала читать.

«Марьяна, — было написано в самом начале, ровным, знакомым почерком, тем же, которым когда-то подписывали мне брачный контракт. — Род Ирт требует твоего присутствия в замке для подписания договора об исправлении клятвы. Совет дома вынес решение. Срок — три дня. Печать прилагается как доказательство полномочий».

Меня кольнуло в имени. Два года он писал «той женщине», через секретаря, через поверенного, через стену. Теперь — мне, по имени, рукой, которую я узнавала по нажиму.

Руки у меня были заняты: я только что закончила перебирать сушеный зверобой, и пальцы пахли горечью, железом и старой пылью. Я отложила корзину, прошла к сундуку и вытащила отрез синей шерсти, который копила на зимнее платье. Положила на стол рядом с письмом. Потом достала ножницы, нитки, иглу и села обратно.

Шить. Дорожное платье, из своей ткани, чтобы ни одного локтя, ни одного шва, который бы напоминал его дом. Я вела ножницами медленно, по старой выкройке, и думала о том, что слово «требуется» в письме было лишним. Род не требует, род вызывает. А вызвал меня один человек, и он впервые за два года назвал меня по имени.

Дверь лавки скрипнула. Я узнала Ладу по шагам. Она вошла, увидела письмо, и лицо ее стало таким, будто она надкусила зеленое яблоко.

— Так и есть, — сказала она, не здороваясь. — Значит, поедешь.

Я отрезала рукав и подняла его на свет. Шерсть была добротная, темно-синяя, без блеска. Из такой выйдет платье, в котором не стыдно ни сесть в телегу, ни войти в чужой зал.

— Поеду, — сказала я. — Только не так, как они хотят.

Лада присела на край стула, сложила руки на коленях. Она была в моей лавке пятый год, бывшая горничная рода Ирт, и знала про этот дом больше, чем я когда-либо узнаю. Ее мать жила на их земле, в деревне под замком, и род держал эту деревню за долг.

— Тебя там ждут не как жену, — сказала она тихо. — Тебя там ждут как виноватую. Уже пустили слух, что ты разлучница, что увела лорда у Инессы Даль. Город об этом говорит третий день.

Я промолчала, потому что игла вошла в ткань с первого раза, и петля легла ровно. Инесса Даль, дочь главы торговой гильдии, новая фаворитка Вардена, с которой он якобы провел зиму, пока я собирала травы в приречных лугах. Город знал. Город всегда знает то, что ему удобно.

— Совет дома, — продолжала Лада, — уже внес запись о ложной жене. Без исправления печать сожжет права ребенка. Чужой ребенок, милая, пойми. Ты вернешься туда, и тебя встретят как чужую, как гостью без голоса, и каждое слово, которое ты скажешь, обернут против тебя.

Я подняла голову и впервые посмотрела ей в глаза.

— Потому я и шью платье, — сказала я. — В чужом платье туда не войду.

Она отвернулась к окну, и я увидела, как дрогнуло ее плечо.

— Мать моя просила передать, — сказала она. — Если я поеду с тобой до ворот, род даст ей отсрочку на зиму. Если не поеду, пришлют пристава. Прости, что говорю прямо, но ты должна знать, на кого они дают.

Я отложила рукав. Шов остался незаконченным, с торчащей ниткой. Я встала, прошла к полке, сняла с гвоздя медный ключ без бирки. Ключ от городской печатной палаты. Гордей Вяз, инспектор, должен был утром прийти за травами для жены, и я собиралась попросить его проверить подлинность этой печати. Если печать поддельная, письмо не имеет силы, и ехать не нужно. Если настоящая — поеду, но на своих условиях.

— Лада, — сказала я. — Собери мне дорожную корзину. Хлеб, сыр, бинты, мазь от ожогов. И не плачь.

Она всхлипнула. У меня было мало времени, и я еще не знала, во что мне обойдется этот въезд в чужие ворота. Я вернулась к столу, взяла письмо и прочитала его вслух, чтобы Лада слышала. Имя, поставленное в самом начале, стоило мне больше, чем все три луны, которые мне предстояло носить чужой браслет. Я сказала себе, что поеду не за этим браслетом, а за правдой о собственной матери, которую кто-то вырвал из родовой книги в этом замке. И за тем, чтобы вернуть себе имя, отобранное чужим слухом.

Медный ключ я держала в ладони, пока металл не стал теплым, и тогда вернула на гвоздь. Гордей Вяз не любил, когда к нему приходили раньше полудня, но его жена третью неделю пила мой сбор от бессонницы, и за сбором он придет сам, без напоминания. Это был мой рычаг, и я не собиралась его тратить на пустой разговор.

Лада унесла письмо в ящик под замок, туда же, где лежал мой старый брачный браслет. Я видела, как она его положила, и промолчала. Она боялась, что я передумаю.

Я села к раскроенному рукаву и вдела нитку в иглу. Шов получился ровный, плотный, чтобы не порвался в дороге. Я работала и слушала, как за стеной возится Юрка, мой подмастерье. Он таскал воду из колодца и ронял ведра так громко, что было слышно через две комнаты. Это меня злило, и я была ему за это благодарна: злость не давала думать о том, что в замке меня уже назвали чужим именем.

Когда рукав был готов, я встала у полки с травами и продолжила перебирать сухой зверобой. Пальцы сами находили стебли, отбраковывали почерневшие, оставляли светлые. В лавке пахло горечью, и я подумала, что в чужом замке пахнет иначе, и что я буду задыхаться там от чужих духов, от воска, от камня, от всего того, что я ненавидела два года.

Дверь скрипнула снова. Юрка стоял в проеме, мокрый по пояс, с пустым ведром, и смотрел на меня так, будто я его ударила.

— У входа стоит мужик из замка, — сказал он. — В капюшоне. Говорит, что от лорда. Говорит, что не уйдет, пока не передаст.

У меня свело пальцы. Я положила зверобой в корзину, вытерла руки о передник и пошла к двери. У крыльца стоял человек в темном плаще, лицо закрыто. Он не снял капюшон, и я не стала просить.

— Марьяна Рогова, — сказал он глухо. — Лорд Варден Ирт просил передать, что карета будет у южных ворот через два часа. Печать настоящая, проверять не нужно. Совет дома ждет.

Я не шевельнулась. Юрка за моей спиной переступил с ноги на ногу, ведро звякнуло о порог.

— Передай лорду, — сказала я. — Карета мне не нужна. Я приеду сама, на своих ногах, через главный вход, к полудню третьего дня. Если к тому времени у ворот будет стоять хоть один человек с чужим гербом, я развернусь.

Человек молчал. Потом кивнул, и под капюшоном блеснула цепь на шее, тонкая, серебряная, с маленькой печатью. Не гербовой, а личной. Я узнала ее, потому что два года назад

сама снимала такую же с шеи Вардена, когда он лежал в горячке после ранения на охоте. Тогда он не снял бы ее ни за что. Теперь он отдал ее гонцу. Это значило больше, чем письмо.

Человек ушел. Я вернулась в лавку, села за стол и взяла ножницы. Платье нужно было закончить к вечеру, и я знала, что шить буду всю ночь, потому что сон не придет, пока я не закрою эту работу. Лада молча поставила передо мной кружку с травяным отваром. Я выпила, не чувствуя вкуса, и продолжила кроить.

Когда стемнело, я достала из-под прилавка жестяную коробку с самыми дорогими вещами. Там лежал браслет-улика, материнский, тонкий, с гербом дома Роговых, который я сняла с руки, когда уезжала из замка. Я спрятала его здесь и за два года ни разу не надела. Теперь вытаскила, повертела в пальцах и положила обратно. Не сейчас. Сначала платье, потом дорога, потом ворота, а браслет пусть подождет, пока я не буду знать, зачем он мне.

Юрка притащил мне ужин, хлеб и лук. Я ела, не глядя на него, а он сидел на пороге и смотрел, как я шью. Когда рукав был вшит и подол подколот, я подняла голову и увидела, что он плачет, тихо, по-детски, не утирая слез.

— Ты чего, — спросила я.

— Ничего, — сказал он. — Просто страшно. Они вас там сожрут.

Я положила иглу и посмотрела на него: мокрые глаза, грязные руки, рванный ворот.

— Не сожрут, — сказала я. — Я их сама.

И вернулась к шитью, потому что до утра нужно было закончить, а утром идти к Гордею Вязу и договориться о проверке печати, даже если гонец сказал, что проверять не нужно. Я никому не верила на слово, и Вардену Ирту меньше всех.

За стеной перекачивалось ведро, которое Юрка никак не мог поставить ровно, и этот звук держал меня на месте сильнее, чем здравый смысл.

Когда я закрепляла крючком ставню, по улице прошел человек в длинном плаще, с капюшоном, надвинутым низко. Он остановился у моего окна. Я отступила в тень, потому что не люблю, когда на меня смотрят в темноте.

Стук в дверь. Не громкий, но уверенный. Я не двинулась. Стук повторился, и тогда я накинула платок и открыла.

На пороге стоял Варден Ирт собственной персоной. Без свиты, без охраны, без той ледяной маски, которую я помнила по совету. Мокрый от мороси, с дорожной пылью на сапогах и с чем-то тяжелым в глазах.

Я не впустила его. Он и не попросился.

— Печать настоящая, — сказал он. — Я привез ее сам, чтобы ты не торговалась с Гордеем Вязом за полчаса чужого времени.

Я посмотрела на него. Он достал из-под плаща сверток, развернул край ткани. На ладони лежала медная пластина с моим именем, выбитым по живому металлу. Я протянула руку, и пальцы дрогнули так, что он это заметил. Он переложил печать мне в ладонь, и металл оказался ледяным, чужим, тяжелым.

— Три луны, — сказала я, глядя на печать, не на него. — Ты понимаешь, что это значит для женщины, у которой уже списали имя?

— Понимаю, — ответил он. — Поэтому пришел сам.

Я подняла голову. Он стоял слишком близко, и я чувствовала запах его плаща, мокрой шерсти и дорожной кожи, и под этим — запах дыма, его собственный, тот, который я запретила себе помнить. У него на скуле темнела свежая ссадина, и я поняла, что он ехал всю ночь.

— Уходи, — сказала я. — Я не приглашала.

Он не двинулся. Тогда я подняла печать так, чтобы он видел мою руку.

— Платье сошью сама, — сказала я. — Браслет надену сама. Ключ от архива получу сама. Если у ворот будет стоять хоть один человек с чужим гербом, я поверну обратно и оставлю эту печать у тебя на крыльце.

Он смотрел на меня, и я видела, как у него дернулась мышца на челюсти. Он хотел сказать «не усложняй», я знала, потому что два года назад уже слышала это. Тогда я поверила. Теперь нет.

— Ты можешь не верить, — сказал он тихо. — Но совет уже вписал тебя как ложную жену. Если не приедешь, они спишут ребенка Каэлисы.

Я замерла. Ребенок. Он впервые назвал его при мне — не «отродье», не «случай», а ребенок. Я сжала печать так, что край врезался в ладонь, и боль вернула мне голос.

— Ты поэтому приехал ночью, — сказала я. — Не за мной. За тем, чтобы я закрыла твою дыру в родовой книге.

Он не ответил, и это было честнее любого ответа. Я отступила и прикрыла дверь, оставив между нами только щель.

— Утром я приду к Гордею Вязу, потом к Оксане, потом к Степану. И только потом к твоим воротам. Если карета будет стоять у южного въезда, я проеду мимо. Если у главных ворот стражник потребует снять браслет моей матери, я вернусь в лавку и закрою ставни.

Он молчал. Потом кивнул и шагнул назад, в темноту, и я слышала, как хрустнул гравий под его сапогом. Я закрыла дверь, повернула ключ и прислонилась к ней спиной. Печать жгла ладонь через ткань, и я поднесла руку к свече, чтобы рассмотреть клеймо. Мое имя, выбитое его рукой, — я узнавала эту работу, видела, как он выбивал такие метки на охотничьих ножах.

Лада просунула голову из-за занавески.

— Это он? — спросила она шепотом.

— Это он, — сказала я. — Собирай корзину. Хлеб, сыр, бинты, мазь от ожогов. И не плачь.

Она всхлипнула. Я вернулась к столу, взяла иглу и продолжила шить. За окном посветлело.

Я встретила утро с иглой в руке и холодной печатью в кармане передника. Рукав былшит, подол подколот, нитки подобраны в цвет, но ткань под пальцами казалась чужой, будто я кроила не себе. Лада спала на лавке, свернувшись в чужой платок, и ее дыхание было единственным теплым звуком в лавке. Я встала, накинула плащ и вышла, не разбудив.

Гордей Вяз принимал рано, потому что казначейская палата не любит тех, кто приходит после полудня. Я постучала в дверь с медной бляхой, и секретарь впустил меня, не спрашивая имени: меня здесь знали по запаху трав и по тому, как я ношу саквояж. Гордей сидел за столом, заваленным грамотами, и его перо замерло над строкой, когда я положила перед ним печать.

— Посмотри, — сказала я. — Без очереди, без гонца, без подписи. Сам металл.

Он взял пластину, поднес к лампе, проворчал что-то про ковку и клеймо. Потом посмотрел на меня поверх очков.

— Настоящая, — сказал он сухо. — Тяжелая. Имя выбито его рукой, я вижу заусенец на «н». Совету это не понравится.

— Совету понравится, — ответила я. — У них в книге дыра, а дыру они привыкли затыкать чужим именем.

Он хмыкнул, вернул мне печать и записал в реестр дату, час и мое имя. Я вышла на крыльцо, и город пах дымом, дегтем и утренней похлебкой. У меня оставалось два дела до ворот, и оба не из тех, что прощают.

Оксана ждала у лавки с чугуном каши и с тем выражением лица, которое у нее означало приговор. Я села, не раздеваясь, она подвинула мне ложку.

— Ешь, — сказала она. — Потом говори.

Я ела, и каша была горячей, соленой, с луком, и я поняла, что не ела ничего горячего двое суток. Оксана ждала, глядя на мои руки: на ссадину от иглы, на синяк от печати, проступивший через кожу.

— Если он тебя обидит, — сказала она тихо, — я сама приду в этот замок и выдерну его за ухо из-за стола.

— Не придется, — ответила я. — Я сама.

Она кивнула, и в этом кивке было больше доверия, чем в любой печати. Встала, принесла узелок: не только травы, но и маленький флакон с темно-зеленой настойкой. Сон-трава, материнская, горькая, на случай если ночь станет невыносимой.

Степан ждал меня у конюшни городской стражи, в мокром плаще, с виноватой улыбкой человека, который не знает, с какого конца зайти в разговор. Я подошла, он вытер руку о полу, прежде чем коснуться моего плеча.

— Сестра, — сказал он, и голос у него сел. — Я слышал про разлучницу. Это неправда.

— Это неправда, — повторила я. — И ты знаешь, что неправда. Но тебе все равно придется идти мимо людей, которые будут говорить иначе. Поэтому я прошу тебя об одном. Если спросят, где я, отвечай честно. Если будут смеяться, не оборачивайся. И если меня не станет через три луны, иди к Оксане. Она знает, что делать с лавкой.

Он сглотнул, и я видела, как у него дрогнула челюсть. Он хотел сказать, что поедет со мной, что сломает ворота. Я покачала головой.

— Нет, Степан. Ты остаешься здесь. Ты моя страховка, а не мой щит.

Он кивнул, и мы постояли, не обнимаясь, потому что мы не из тех, кто обнимается на улице. Я повернулась и пошла к южному въезду. Карета Вардена, как я и сказала, стояла там, а не у главных ворот. Кучер был один, без герба, и на козлах лежала солома, а не церемониальный ковер. Я поднялась, села, и карета тронулась.

В кармане у меня лежала печать, в узелке — сон-трава, а в голове голос Гордея Вяза, записавшего мое имя в реестр как «принято к производству». Это было первое публичное действие, в котором мое имя стояло рядом с его печатью, а не под чужим гербом. Я смотрела в окно, за которым мелькали мокрые крыши, и знала, что у ворот меня будет ждать чужой взгляд, и что взгляд этот будет стоить мне дороже любой пошлины.

Карета тряхнуло на выбоине, и я ударилась виском о стенку. Солома на козлах шелестела, кучер не оборачивался, и я поняла, что меня везут не как гостью, а как вещь, которую дешевле доставить тихо, чем со стражей. Я пересчитала в голове узелок: бинты, мазь, сон-трава, сухая корка, кремь. На мне было платье, сшитое ночью из моей же ткани, и я чувствовала каждый шов, потому что он еще ныл.

Когда колеса заскрипели по мокрому щебню, я подобрала юбку и спрятала браслет матери под рукав. Узелок с лекарствами лег на колени, печать — в карман к сердцу, и я почувствовала, как металл снова стал теплым, будто его только что держали.

У ворот стоял стражник с гербом Иртов на пластине, и рядом две служанки в одинаковых серых передниках. Я узнала их лица еще до того, как услышала слова.

— Разлучница едет, — сказала одна, не понижая голоса. — Посмотрите, платье самой сшить не хватило ума.

Я не опустила окно. Стражник шагнул к дверце, не здороваясь.

— Браслет, — сказал он. — Чужая родовая вещь. Снимите или не въедете.

Я не двинулась. В карете было тесно, и я чувствовала запах мокрой шерсти от его плаща — такой же чужой, как его голос.

— Браслет матери, — ответила я. — Не снимается. Позовите хозяина.

— Хозяин занят.

— Тогда позовите казначея. Или откройте ворота. Я въеду как лекарь, с узелком трав, осмотр будет на крыльце, не в карете. Если совету нужна печать, пусть выйдет кто-то, у кого хватает полномочий стоять рядом с чужой родовой вещью.

Стражник переглянулся со служанкой. Та поджала губы, и я знала, что к обеду в замке будут шептаться не только про разлучницу, но и про то, что разлучница не сняла браслет. Мне это было на руку. Оскорбление стоило копейку, обсуждение — дороже.

Калитка в боковой стене скрипнула, и вышел Варден. В дорожном плаще, без герба, волосы мокрые от дождя. В правой руке у него лежал брачный браслет, и я узнала нашу работу, нашу вязь, и на застежке блестела свежая кровь. Он резал застежку сам. На левой ладони, там, где полагается носить печать, кожа была содрана до мяса, и он не прятал руку.

Он открыл дверцу сам, не передавая стражнику, и его пальцы пахли железом и хвоей. Я не взяла его руку, вышла сама, и узелок остался лежать на сиденье.

— Условия те же, — сказала я. — Браслет матери не снимаю. Печать предъявляю только в совете. Лечу кого скажете и кого не скажете тоже.

Он отступил, и я пошла по мокрому двору к крыльцу. Служанки расступились, стражник отвернулся, и я слышала только хруст гравия под моими каблуками и его шаги за спиной. На крыльце я остановилась и обернулась.

— Где мне ночевать, лорд Ирт?

В сенях пахло воском и сырым камнем, и я поняла, что эта ночь будет длиннее дороги.

Я прошла мимо служанки с подсвечником, не удостоив ее взглядом, поднялась по лестнице и остановилась перед дверью спальни. Ручка была холодной, латунной, с чужой гравировкой. Я нажала плечом и вошла.

Комната была та же, что два года назад, и не та же. Кровать застелили свежим бельем, белым, жестким, с чужой вышивкой по краю. Камин был холодный, зола в нем слежалась и пахла старым дымом. На туалетном столике стоял графин с водой, мутной от времени, и рядом — блюдо с засахаренным медом, которое я никогда не любила. Ясно, кто здесь принимал гостей.

Я сняла дорожное пальто, повесила на спинку стула и подошла к камину. В золе валялся обрывок письма, чужой почерк, мелкий, с нажимом от тонкого пера. Я подняла его двумя пальцами и поднесла к глазам. «Каэлиса просила передать, что ребенок ночью плакал». Дальше стояла дата — три дня назад.

Я положила обрывок в карман. Потом взяла кочергу, разворошила золу и нашла под ней скомканную записку, почти сгоревшую. От нее остался только клочок с гербом дома Даль и кончик подписи. Я узнала бы этот герб где угодно: лилия с обломанным стеблем, татуировка на запястье Инессы.

Камин не горел. Без браслетов на обоих печать не работала, и я поняла это раньше, чем прочла в договоре. Я присела на корточки и подержала ладони над золой. Холод поднимался от камня, и я не обманывала себя: эта комната не моя, пока на моей руке нет его браслета.

В двери постучали.

— Открыто, — сказала я, не оборачиваясь.

Варден вошел без плаща, в одной рубашке, с засученными рукавами. На сгибе локтя у него темнел свежий порез, неглубокий, но уже подсохший. Я знала этот порез: он сам вскрыл застежку браслета, когда нес печать через двор. Кровь на его ладони была его собственной кровью.

Он остановился у кровати и посмотрел на камин. Потом на меня. Потом на графин с мутной водой.

— Ужин принесут через час, — сказал он тихо. — Если хочешь есть раньше, на кухне горячий хлеб и сыр.

— Я не голодная, — ответила я. — Я хочу, чтобы камин горел.

Он промолчал. Я поднялась, отряхнула колени и посмотрела ему в глаза. В них было то самое выражение, которого я ждала и боялась: усталая готовность платить за чужую ложь, которую он начал сам.

— Браслет, — сказала я, протягивая руку.

Он достал из кармана серебряный обруч, парный к моему, и положил мне на ладонь. Я сжала его, холодный, тяжелый, с гравировкой рода Ирт по внутренней стороне. Потом растегнула свой, тот, что носила под рукавом матери, и сняла его сама. Он увидел, как я кладу браслет матери на туалетный столик, рядом с блюдцем засахаренного меда, и ничего не сказал. Это был первый подарок между нами за два года, который я сняла добровольно.

Я надела его браслет поверх своего. Два обруча легли рядом, один шире, другой уже, и между ними кольнуло холодом так, что я стиснула зубы. Варден смотрел на мои запястья, и я знала, что он видит то же, что я: решетку, которую мы сами на себя надели.

Печать камина дрогнула и загудела, едва слышно. Огонь вспыхнул сам, без дров, без спички. Я отдернула руки и отошла к окну.

— Три луны, — сказала я. — Ты считал?

— Считал.

— И что в итоге?

Он подошел к камину и сел в кресло, тяжело, как человек, который не спал двое суток. Пламя осветило его скулу с подсохшей царапиной и белый край старого ожога под рубашкой, там, где у наследников рода Ирт с четырнадцати лет прожигают печать на ребрах. Я видела этот ожог много раз, но впервые он смотрел на меня, не отводя глаз.

— В итоге ребенок Каэлисы остается без родового имени, совет теряет торговые клятвы с домом фарфоровой невесты, печать сжигает права наследницы. Проще нельзя. Храм уже прислал гонца.

Я села на кровать, прямо в дорожном платье. Белье подо мной пахло чужим мылом и чужими духами, и я подложила под бок собственную сумку с травами, чтобы не касаться его голой спиной.

— Где ночует ребенок сейчас? — спросила я.

— У повитухи в нижней пристройке. Каэлиса присылает молоко.

— Кто платит повитухе?

Он помолчал, и я видела, как он подбирает слова, которые можно произнести вслух.

— Я плачу из своих денег. С зимы.

Я кивнула. Не «дом платит», не «из казны». Из своих. Это была цена, которую он уже платил за ложь, которую начал сам.

— Завтра я к ней пойду, — сказала я. — Посмотрю ребенка. Привезу молоко, если понадобится. Лечить буду из своего, не из твоего.

Он не ответил. Я сняла сумку с трав, вытряхнула на одеяло сушеную липу и мяту, разложила по сортам и начала перебирать. Это было мое настоящее занятие на эту ночь и на все три луны вперед, и я хотела, чтобы он это видел.

— Торин придет утром, — сказал он наконец. — С монахом. Проверять печать.

— Пусть приходит, — ответила я, не поднимая глаз от мяты. — Камин горит, браслеты на нас, ребенка я видела. Проверять нечего.

Он встал, подошел к двери и остановился. Я ждала, что он скажет что-нибудь про клятву, про совет, про то, что нам обоим будет стыдно утром. Он не сказал.

— Спокойной ночи, Марьяна, — сказал он и вышел.

Я прислушалась к его шагам по коридору. Потом взяла с туалетного столика браслет матери и надела обратно поверх его браслета. Два обруча, один поверх другого, легли так плотно, что я перестала различать, где кончается мой род и начинается его.

Я легла, не раздеваясь, подложив сумку с травами под голову. Липа пахла медом и дымом, и я закрыла глаза.

Утром я встану раньше Торина, спущусь в нижнюю пристройку, осмотрю ребенка Каэлисы и напишу Оксане письмо с кодовым словом, чтобы привезли чемодан с печатным

станком и шкатулку с записями. Потом возьму Лизу, внучку матери по линии Роговых, на руки и больше не отпущу. Это будет мой первый рабочий день в доме Ирт, и я проведу его руками, а не словами.

Камин горел. Браслеты грели запястья. За стеной кто-то шептал «разлучница», но я уже спала.

Он поднял на меня глаза, и в них было то выражение, которое я ненавидела больше всего: усталость человека, который сам начал эту игру и сам устал в ней играть.

— В спальне жены, — сказал он тихо. — Если камин зажжется.

Я вошла, не оборачиваясь. В сенях пахло воском, сырым камнем и чужими духами, и я поняла, что эта ночь будет длиннее дороги.

Глава 2. Ключ от кухни

Саквояж пришлось поставить прямо в грязь, потому что обе руки у меня заняла тачка с тюками. Мокрая трава липла к подолу, колесо скрипело на каждой выбоине подъездной дорожки, и я считала обороты, чтобы не думать о том, как пахнет его плащ, висящий у меня на плече. От плаща несло чужими духами. Не моими. Не лечебной полынью и не дымом, а чем-то сладким, медовым, вроде тех леденцов, что продают на ярмарке дочери главы торговой гильдии. Я перехватила ручку тачки поудобнее, выпрямила спину и толкнула ворота.

У ворот стоял стражник, тот самый, с рябым лицом и привычкой смотреть сквозь меня, будто я часть пейзажа.

— Стой. Чужая вещь на шее — долой.

Я не сразу поняла, о чем он. Потом опустила глаза и увидела браслет-улику, который мать оставила мне перед смертью, тонкий, потемневший, с гербом, которого здесь не знали и знать не хотели. Серебро прикипело к коже от пота, и я не могла снять его одним движением, как снимают перстень.

— Это не ваша вещь, — сказала я. — Это моя.

— Вход в род Ирт — без чужой родовой привязки. Плата за вход — снять.

Я выпрямилась. Плащ сполз с плеча, и запах чужого стал громче, забил мне нос, и я стиснула зубы.

— Меня ждет муж. Позови Вардена Ирты. Пусть он сам решит, какие вещи я могу носить в его доме.

Стражник усмехнулся. Скрипнула калитка, и во двор вышел Варден, в одной рубашке, с непокрытой головой, с каплями дождя на висках, как будто бежал через весь двор.

— В чем дело, Рогова?

— Меня не пускают, — сказала я. — У меня на шее мамин браслет. Стража считает его чужим.

Варден посмотрел на стражника, потом на меня, потом снова на стражника, и я увидела, как у него побелели костяшки пальцев, сжимавших дверной косяк.

— Она моя жена, — сказал он ровно, как будто отмечал погоду. — Браслет не снимать. Открыть.

Стражник замялся, но отступил, и я подхватила свой саквояж, прошла ворота и только тогда заметила, что у Вардена порезана ладонь, и кровь еще не засохла, и капает с пальцев на каменный порог. Он не стал прижимать руку к груди, не стал прятать, просто дал мне увидеть, и я поняла, что застежку на парном браслете он вскрывал сам, и ритуал нужен ему, а не совету, и от этого понимания мне стало хуже, а не лучше.

— Спасибо, — сказала я.

Он кивнул, не глядя.

— Ключ от кухни, — сказал он, и в голосе появилась та отрывистая мягкость, которая всегда появлялась у него, когда он не хотел показывать, что устал. — Казначей в малой приемной, через час. Подпишешь условия печати. Без браслета на обоих камин в спальне не загорится, горячей воды не будет. Это не я придумал, но тебе придется это носить.

Я не стала спорить. Я просто пошла к малой приемной, считая ступеньки, и на тридцать седьмой у меня в кармане нашелся мамин браслет, который я так и не сняла, потому что стражник отвлекся на Вардена, и я убрала его туда, не чувствуя ни стыда, ни благодарности, только тяжелый серебряный холод на дне ткани.

Я отсчитала тридцать восьмую ступеньку и остановилась у двери в малую приемную, потому что услышала голоса. Один я узнала сразу — ровный, вежливый, с двойным дном, как у нотариуса, который заранее знает, что вы проиграете. Так говорил Торин Ирт, когда вызывал

меня «на беседу» в первый мой год замужества. Второй голос был суше, канцелярский, без придыхания. Гордей Вяз, инспектор печатной палаты, о котором в городе говорили, что он умеет задавать вопросы, от которых потом не отмыться.

Я прижала саквояж к бедру, чтобы он не стукнул о перила, и прислушалась. Имена звучали через дверь плоско, без интонации, как монеты, которые отсчитывают на чужой стол.

— Печать активируется только при добровольном ношении браслетов обеими сторонами. Три луны без права снять. Нарушение снимает статус жены автоматически. Решение совета окончательное.

— Если она откажется подписать?

— Отказ не освобождает от браслета, — ответил Вяз. — Освобождает от дома. Она остается гостьей без права голоса и без доступа к архиву. Совет уже внес запись о ложной жене. Исправление закрывает эту запись.

Я считала удары собственного сердца. Три. Семь. Двенадцать. Потом отлепила ладонь от дверной ручки, потому что ручка была ледяная, а у меня на ладони остался чужой запах — мамино серебро и холодный пот, — и я поняла, что входить нужно сейчас, пока они не закончили говорить обо мне так, будто меня здесь нет.

Дверь я открыла плечом. За столом сидел Торин Ирг, в сером, как стена, с серебряной цепью на шее. Напротив него стоял Гордей Вяз, сухой, с жидкой бородкой, и перебирал бумаги, как карты в колоде.

— Постучись, — сказал Торин, не поднимая головы.

— Я не горничная, — ответила я и прошла к столу. — Я пришла подписать. Где условия?

Вяз посмотрел на меня оценивающе, как смотрят на товар, который уже подан на лоток. Потом положил передо мной лист с гербовой печатью, где чернилами были вписаны мои имя и фамилия, но в скобках стояло «бывшая», и я почувствовала, как у меня дернулась щека.

Я села, положила саквояж на колени, раскрыла застёжку. Там, под бинтами и мешочком с пылью, лежала моя печать, маленькая, медная, с вензелем рода Роговых. Я достала ее и поставила рядом с листом.

— Три луны ношения браслетов, — прочитала я вслух. — Ночевки под одной крышей. Право голоса в хозяйстве. Утренний ключ от архива на время срока. Обязанность являться на ритуал круга каждую ночь.

— Подпись внизу, — сказал Вяз. — Кровью или чернилами, по выбору.

— Чернилами, — сказала я. — У меня уже и так достаточно крови в этой истории.

Торин впервые посмотрел мне в глаза. У него были блеклые, выцветшие глаза, как у рыбы, которую долго держали на льду.

— Ключ от архива, — сказал он, — передается утром и возвращается вечером. Без браслета ключ не открывает дверь. Это условие совета, не мое.

— Я поняла, — сказала я. — Без браслета камин в спальне не горит, горячей воды нет, ключ не работает. Варден уже объяснил.

— Объяснил, — повторил Торин, и в его голосе мелькнула та старая мягкость, которой он давил сильнее, чем любой крик. — Он вам многое объясняет, Марьяна. Иногда слишком многое.

Я взяла перо. Оно было чужим, с засохшим пухом на кончике, и я подумала о том, что этим пером до меня подписывали чужие жизни, и от этого стало не страшно, а только очень ясно.

Подпись я поставила ровно. «Рогова М.». Без «жена Ирг», без «бывшая», без «разлучница». Просто моя фамилия и моя буква, и чернила легли как должны.

Вяз смахнул лист в папку. Торин поднялся.

— Ключ будет у казначея, — сказал он. — Утром, с первым колоколом.

— Я знаю, — сказала я. — Я уже была замужем в этом доме. Только тогда мне не давали ключа.

Торин чуть дрогнул ртом, но не ответил. Они вышли, и дверь за ними закрылась с тяжелым, сырым звуком, и я осталась одна в малой приемной, где пахло старой бумагой и чужим табаком.

Я сидела и смотрела на свой саквояж. В нем лежали бинты, мешочек с полынью, флакон с мазью от ожогов, который я варила для кухарки, и письмо Вардена, спрятанное под обложкой молитвенника. Я вытащила письмо, развернула, прочитала первую строку. «Марьяна». Просто имя. Без «жена», без «бывшая», без «та женщина». Он впервые написал его сам, и от этой ровной, твердой буквы у меня защипало в носу, и я зло сложила письмо обратно.

В коридоре послышались шаги. Тяжелые, мужские. Я узнала бы эти шаги из тысячи — Варден ходил так, будто каждый шаг стоил ему решения, и это было слышно по камню. Я спрятала письмо, закрыла саквояж, поднялась и пошла к двери.

Мы столкнулись у порога. Он был уже в камзоле, с перевязанной ладонью, с ключом от кухни на поясе, который блестел тускло, как чужое серебро. От него пахло дождем и его собственной кровью, и я невольно сглотнула.

— Подписала? — спросил он.

— Подписала. Ключ от кухни давай.

Он снял ключ с пояса и положил мне в руку. Его пальцы были холодные, и я почувствовала повязку под подушечкой большого пальца, и от этого моя рука дернулась, и я отступила на шаг.

— Завтра, — сказал он, — первая ночь круга. Свеча на столе. Не гаси до полуночи.

— Я умею держать свечу, — сказала я. — Я не умею только одно — верить тебе.

Он не ответил. Он смотрел на мою шею, туда, где под воротом платья не было мамино браслета, потому что браслет лежал у меня в кармане, холодный и тяжелый, и я поняла, что он ищет его глазами, и не находит, и это меняет в его лице что-то, чего я еще не умела читать.

Я развернулась и пошла по коридору. Ключ от кухни лежал у меня в кулаке, и металл жег ладонь, и я сжимала его так, будто от этого ключа зависело, останусь ли я в этом доме человеком или снова стану вещью, которую можно вынести на заднее крыльцо и забыть у двери.

Ключ от кухни жег мне ладонь всю дорогу через нижний коридор, мимо кладовки с прогорклым маслом, мимо людской, где кто-то из служанок Каэлисы фальшиво охнул мне вслед — «разлучница», — и я не обернулась, потому что оборачиваться значило признать, что меня это ранило, а раненой я сегодня быть не имела права.

Кухня встретила меня паром и запахом подгоревшей каши. Огромный котел стоял на плите, рядом — медный таз с грязной марлей, и я сразу поняла, что лечебница при кухне жива только на бумаге. Я положила саквояж на стол, раскрыла его, достала свой флакон с мазью и свой нож, и пошла вдоль полок, считая банки. Двенадцать. Три пустые. Две с этикетками, но внутри пахло не тем, что было написано.

Я сняла крышку с ближней банки, понюхала, попробовала каплю на запястье. Не мать-и-мачеха, а полынь с дешевой миррой. Для пореза такая мазь сожжет рану за сутки. Я отставила банку, достала из саквояжа свою, плотно замотанную в воск, и поставила на видное место. Пусть видят, что у хозяйки теперь есть свое.

Кухарка, та самая, с обожженной рукой, подошла неслышно, вытирая фартук. У нее были красные, воспаленные пальцы и страх в глазах, и я молча показала ей на лавку. Она села. Я размотала ее повязку, понюхала рану — пахло дегтем и старой кровью, — и от этого меня замутило, но я не отвернулась. Я выдавила мазь из своего флакона, нанесла тонким слоем, перевязала чистым бинтом, который тоже достала из саквояжа.

— Утром и вечером, — сказала я. — Своей мазью. Ту, прежнюю, выброси.

— Барыня Каэлиса привезла, — пробормотала кухарка. — Ее мазь.

— Каэлиса не лекарь, — ответила я. — Каэлиса умеет вышивать гербы. Если хочешь руку — слушай меня. Если хочешь слушать Каэлису — перевязывай сама.

Она кивнула. Я заметила, что у нее на запястье след от веревки, и от этого у меня сжалось горло, и я спрятала лицо за тем, что стала пересчитывать травы на верхней полке. В углу, под мешковиной, стояла корзинка, в которой я сначала увидела пожелтевшее белье — рубашку, слишком маленькую для взрослого, с вышитым по вороту знаком. Я достала ее, повернула к свету, и у меня остановилось дыхание. Герб был мой. Мамин. Дом Роговых, ветка старшей сестры моей матери, та, о которой мне рассказывали только как о легенде.

Я сунула рубашку в карман, не глядя, потому что за окном, в глубине двора, я почувствовала взгляд. Окно было низким, кухонным, и за ним, в тени навеса, стоял Варден. Не прятался. Стоял, как стоит хозяин, который проверяет свою территорию, и смотрел на мои руки, в которых больше не было рубашки, и я поняла, что он видел.

Я не отвела глаз. Я вытерла руки о фартук, подошла к двери, вышла на крыльцо и встала напротив него. Между нами было четыре шага мокрого камня и его собственный запах — дождь, лошадь, та же кровь на повязке.

— Ты следишь за мной в собственном доме, — сказала я. — Или проверяешь, хорошо ли я хозяйничаю?

— Проверяю, — ответил он, — хорошо ли ты помнишь, чья это кухня.

— Я помню, — сказала я. — Твоя. А теперь моя. До конца срока. Так написано в договоре.

Он чуть двинул челюстью, и в этом движении я увидела то, что не умела читать раньше: он не злился на меня, он злился на то, что я была ему нужна именно в этой кухне, в этой рубашке, в этом прахе моей матери, которую он сам когда-то вычеркнул из своей родовой книги.

— На ужин, — сказал он, не отводя глаз, — я пришлю за тобой.

— Я приду сама, — ответила я. — И сяду не там, где сидела Каэлиса. Я сяду там, где сидела твоя жена. Потому что я теперь и есть твоя жена, по договору, и мы оба это знаем.

Он отвернулся первым. У меня в кармане лежала детская рубашка с моим гербом, в кулаке еще горел ключ от кухни, и я стояла на крыльце, на своем крыльце, в чужом доме, где меня только что назвали хозяйкой вслух, и впервые за весь день у меня перестали дрожать пальцы.

Ключ от кухни все еще жег мне ладонь, когда я вошла обратно, потому что уходить из своего первого угла в этом доме я не собиралась. Кухарка, та самая, с обожженной рукой, уже сидела на лавке, и я заметила, что она не сняла мою повязку, а только подвернула рукав, чтобы не испачкать тесто. Это была маленькая победа, и от нее у меня потеплело в груди.

Я выложила из саквояжа на стол три мотка чистого бинта, банку с гусиным жиром и свой нож. Потом подошла к полке, сняла вторую банку с поддельной мазью, вынесла ее во двор и выбросила в канаву. Вернулась — кухарка смотрела на меня так, будто я только что сожгла чужой герб.

— Если придет кто от Каэлисы, — сказала я, — скажешь, что банка разбилась. Я дам тебе свою, она не сожжет руку. Мне нужно, чтобы ты кормила мой дом, а не лежала в моей же лечебнице.

Она кивнула. Я села напротив нее, достала из саквояжа клочок бумаги, огрызок карандаша и начала писать. Список. Короткий, как пост: мука, соль, масло, чистая марля, уголь, две новые банки, воск, печь для сушки трав. Последний пункт я подчеркнула дважды. Потом добавила четвертый: купить нормальный чай. Если уж спасти проклятый драконий род, то хотя бы не на этой горькой бурде.

Ступени скрипнули. Я узнала бы этот скрип из тысячи — Варден ступал тяжело, не скрываясь, и от этого скрипа у меня сжималось горло, потому что так ступают хозяева, которые не

сомневаются, что их пропустят. Он вошел в кухню, и кухарка вскочила, и я осталась сидеть, и это было мое первое маленькое преступление против его дома.

— На ужин, — сказал он, — за тобой придут.

— Я приду сама, — ответила я, не поднимая глаз от списка. — И сяду не там, где сидела Каэлиса. Я сяду там, где сидела твоя жена. Потому что я теперь и есть твоя жена, по договору, и мы оба это знаем.

Он чуть двинул челюстью, и я почувствовала, как воздух в кухне стал плотнее. Варден сделал шаг к столу, я подняла голову и встретила его взгляд. У него на щеке, у самой скулы, я заметила царапину — свежую, тонкую, будто кто-то из служанок зацепил его ногтем, когда он проходил мимо, или он сам зацепился за гвоздь. Эта царапина сделала его лицо моложе, и я невольно сглотнула.

— Ты в моем доме, — сказал он тихо, и от этой тихости у меня заныли зубы, — моя власть выше твоего списка.

— Моя власть — в этой кухне, — ответила я, — и в этой лечебнице. По договору. Не выше тебя, не ниже. Рядом. Привыкай.

Я развернула медную ступку, сыпала в нее сухие листья и начала мять, и ступка отдавала в ладонь ровное тепло, будто тоже хотела работать. На столе рядом лежал мой список, и я знала, что до ужина мне нужно сделать три вещи: сварить чистую мазь, переписать банки в книгу расходов и пришить к фартуку второй карман. Третье было моим капризом, потому что в первом кармане уже лежала детская рубашка с моим гербом, и я не хотела, чтобы она терлась о банку.

Дверь скрипнула. Я не подняла головы. Кухарка так не ходит, кухарка ступает мягко, носком, чтобы не мешать тесту, а этот шаг был тяжелым, мужским, и пахло от него не дождем, а воском и бумагой. Я узнала этот запах раньше, чем увидела вошедшего.

— Ты забыл сказать, — произнесла я, продолжая мять, — за каким столом мне сидеть.

Варден остановился у порога. Он сменил повязку, и теперь его правая ладонь была обмотана чистым бинтом, белым, почти неприличным в этой кухне, где все было в муке и жире. У него в руках был поднос, и на подносе стояла глиняная миска, накрытая полотном, и от нее пахло горячим хлебом и чем-то мясным, и у меня свело желудок, потому что я не ела с утра.

— Я подумал, — сказал он, и голос у него был непривычно ровный, без привычного приказа, — ты не спустишься. И я поднялся.

Я подняла голову. На щеке у него царапина уже подсохла, и рядом, у самой скулы, я увидела тонкую белую полоску старого шрама, которую раньше не замечала, потому что в доме всегда горел свет не с той стороны. Шрам был давний, и от него его лицо делалось чужим, и я невольно отвела глаза.

Он поставил поднос на стол, рядом с моей ступкой, и это было нарушение всех правил его дома, потому что в этой кухне не ели, в ней работали, и он это знал, и я это знала, и мы оба сделали вид, что не заметили.

— За каким столом, — повторила я.

— За хозяйским, — ответил он. — Слева от меня. Не там, где сидела Каэлиса. Она сидела справа, и это была ее ошибка.

Я отложила ступку. Мои пальцы пахли мать-и-мачехой, и я знала, что от этого запаха ему будет трудно дышать, потому что этот запах он терпеть не мог, я помнила это еще по тому браку, который мы оба предпочли забыть. Я поднялась, вытерла руки о фартук и впервые за день посмотрела на него прямо, не из-под ресниц.

— Ты ужинаешь со мной? — спросила я. — В этой кухне?

— Здесь, — сказал он. — Здесь пахнет правильно.

Я села на лавку. Он сел напротив, и между нами была ступка, и хлеб, и моя банка с гусиным жиром, и его перевязанная ладонь, которую он положил на край стола ладонью вверх, и я увидела, что бинт уже чуть розовый по краям, и это значило, что рана открылась снова.

Я молча достала из саквояжа чистую полосу, обмакнула в мазь, которую только что начала мять, и протянула ему через стол.

— Дай руку, — сказала я.

Он посмотрел на мою ладонь, на мазь, на меня, и я видела, как у него дернулась щека. Я знала, что он не даст. Я знала, что он встанет, уйдет, и ужин будет подан в его кабинет, и я снова буду есть одна, потому что так устроен этот дом, и так устроен он сам. Я уже подобрала полосу, чтобы убраться обратно.

Он протянул руку.

Я размотала бинт. Под ним был порез, длинный, ровный, от указательного пальца до самого запястья, и он был свежий, и края его были красные, и я поняла, что он резал что-то сегодня, и не сказал мне. Я наложила мазь, перевязала чистой полосой, затянула узел, и все это время он молчал, и я молчала, и в кухне пахло хлебом и травами, и за окном кто-то из служанок бросил в канаву пустое ведро, и оно грохнуло, и мы оба вздрогнули.

— Спасибо, — сказал он.

Я не ответила. Я налила ему воды из кувшина, налила себе, и мы поужинали молча, и хлеб был горячий, и мясо было жесткое, и я доела все, потому что я не из тех женщин, которые оставляют еду, когда им делают первый за день подарок.

Он смотрел на меня, и я видела, как у него дрогнули пальцы правой руки, той, что была перевязана, и я поняла, что он хочет сказать что-то важное, и не скажет, и от этого его молчание стало почти осязаемым. Потом он развернулся и вышел, и дверь за ним закрылась не хлопком, а тяжелым, ровным ударом, будто он ее придержал.

Я осталась одна. Кухарка неслышно вышла, и я слышала, как она в сенях шепчет что-то прислуге, и я знала, что к ужину весь дом будет знать, что я сидела, когда он вошел. Это была моя вторая маленькая победа, и я записала ее в тот же список, только карандашом, в самом низу, и зачеркнула, чтобы никто не прочел.

За окном начало темнеть. До ужина оставалось два часа, и у меня было ровно столько, чтобы пересчитать все банки, сварить чистую мазь и написать в книге расходов первый свой хозяйственный долг. Я развернула саквояж, достала медную ступку и начала мять сухую мать-и-мачеху, и запах пошел по кухне горький, лечебный, и я вдохнула его, и впервые за весь день у меня перестали дрожать пальцы.

Глава 3. Ключ у двери

Дверь в бухгалтерскую я открыла сама. Тяжелая, дубовая, с коваными петлями, она поддавалась только на три пальца и требовала ровно столько силы, чтобы стражник у ворот не слышал. Замок на ней был без ключа, просто засов, и это меня насторожило больше, чем любые печати.

Внутри пахло слежавшейся пылью, мышинным пометом и тем кисло-сладким запахом, какой бывает у счетных книг, которые трогали мокрыми руками. Я зажгла свою свечу, поставила ее в глиняный подсвечник на пол и присела у нижней полки, где обычно держат расходные реестры. Если совет дома собрался выставлять мне счет за три луны, пусть сначала ответит, кому он три луны платил до меня.

Книга долгов лежала третья слева. Переплет из телячьей кожи, углы стерты, страницы разной высоты, будто их впахивали силой. Я открыла первую запись, потом вторую, третью, и у меня начало неприятно сосать под ложечкой. Не от страха. От той тихой, тупой злости, которая приходит, когда ты видишь, что тебя обобрали на бумаге.

В графе "жена лорда" два года стояли розы и вино, серебряные ленты и новые чехлы для кресел в спальню, в которой я ночевала на кровати с прожженным углом. В графе "невеста Ирт" — за три месяца до меня — ушло втрое меньше, зато там была строчка "ткани для свадебного платья, мануфактура Роговых". Я перечитала фамилию трижды. Роговы. Мой род, мамина линия. Кто-то шил себе свадебное платье из нашей ткани, а потом исчез из книги, как исчезает страница.

Свеча трещала. Я перевернула еще семь листов и увидела, что после записи о "невесте" идут чистые страницы, а потом — сразу мое имя, вписанное другой рукой, с размашистым росчерком казначея, которого я еще не видела. Под моим именем — свадебный обряд, браслеты, ужин для сорока человек, подарки совету, "содержание дома согласно уставу", но ни одного пункта о том, кто платит за мою одежду, комнату и лечебницу, в которую я еще не вошла.

Я выпрямилась, вытерла пальцы о фартук и пошла искать казначея. По дороге заглянула в окно, выходящее во двор. Там стояла служанка Каэлисы — та самая, с ворот — и громко смеялась, показывая кому-то мой браслет-улику, который я утром оставила Ладе в лавке. Значит, они уже знали, как он выглядит. Значит, кто-то его описал. Я сделала себе зарубку в голове: вернуть браслет, зашить в подол, никому не показывать.

Казначей нашелся в винном погребе. Невысокий, сухой, в очках с треснувшей левой линзой, он перебирал бочки и делал вид, что меня не слышит.

— Семь пунктов по моему содержанию, — я положила перед ним раскрытую книгу, — и ни одного расхода на лечебницу, прачечную или мою комнату. Где остальное?

Он поднял голову, снял очки, протер их подолом.

— Все расходы жены лорда проходят через печать дома. Печать у советника Торина Ирт.

— Тогда где печать?

— В кабинете лорда, — он сказал это слишком быстро и снова надел очки. — Я не имею права выдать копию без подписи главы дома.

Я закрыла книгу, прижала ее к груди и пошла в кабинет Вардена. Не потому что верила, что он там, а потому что хотела посмотреть, заперта ли дверь. Дверь была не заперта. Внутри пахло его одеколоном, тем самым, который я когда-то выбирала ему сама — кедр, кожа, горький апельсин. На столе лежал браслет, его парный, с засохшей кровью на застежке, и счет из мануфактуры Роговых за ткань, которой не было ни в одном шкафу дома.

Я взяла браслет. Застежка была вскрыта криво, лезвие соскочило и прорезало кожу. Он сам резал. Не казначей, не советник Торин — он сам взял нож и вскрыл застежку, чтобы ритуал

начался. Это меняло все. Это значило, что ему нужно было, чтобы печать сработала, и он не мог попросить об этом ни у кого.

Я положила браслет обратно, аккуратно, застежкой к стене, и вышла, прижимая книгу к себе, как щит. У двери в коридоре стоял Варден, молча, с полотенцем на плече и ссадиной на скуле, от которой тянуло железом и дождем. Мы посмотрели друг на друга, и я впервые за день не отвела взгляд.

Мокрое полотенце на его плече пахло дождем и его кровью, и это раздражало сильнее, чем весь совет дома вместе взятый. Он стоял у двери в кабинет, как будто ждал меня, хотя я знала, что нет. Варден никогда не ждет. Он появляется.

Книга долгов лежала у меня на груди, тяжелая и теплая от моих рук. Я перехватила ее поудобнее, чтобы он видел, что я не собираюсь уступать ему коридор.

— Ты сам резал застежку, — сказала я. Не спросила, сказала. У меня не было сил спрашивать.

Он посмотрел на меня так, словно я ударила его в солнечное сплетение, а потом отвел взгляд к окну, где дождь бил по стеклу мелкой дрожью.

— Было туго.

— У казначея есть ножи. У советника Торина есть перчатки.

— У меня тоже есть ножи.

Это была правда, и именно она делала разговор невыносимым. Он не мог попросить никого. Он не мог признаться совету, что ритуал нужен ему, а не печати. Значит, три луны на моей руке и его кровь на застежке — это его добровольный выбор, за который он собирается заплатить моей жизнью в его доме.

Коридор пах старой известью и мокрой шерстью. Где-то внизу, под лестницей, слышались голоса служанок, и я снова вспомнила ту, с воротами, которая показывала мой браслет-улику во дворе. Лада не отдала бы его чужим. Значит, его описали, а она подтвердила. Это нужно было проверить, но сначала — кабинет.

— Печать твоего дома, — я кивнула на дверь, — на каких условиях проходит содержание жены?

Варден вытащил из кармана смятый лист, протянул мне. Это был не счет, а выписка из устава рода, мелким почерком, с моим именем на полях. Я пробежала глазами: "содержание, одежда, лечение, комната — по печати главы дома. Печать — у советника Торина Ирт. Доступ к печати — через личное разрешение лорда либо через решение совета".

Я подняла на него глаза.

— То есть за каждый мой платок я должна идти к Торину. А Торин, если я правильно помню твоего дядю, любит спрашивать, заслужила ли я этот платок.

— Ты не обязана к нему ходить.

— А к кому? К тебе?

Он промолчал. Полотенце сползло с плеча, открыв ссадину на скуле и ворот рубашки, под которым я успела заметить край старого, белого по краям ожога. Не от свечи. От печати. У него на ребрах было клеймо его же дома, и я раньше никогда его не видела, потому что в спальню мужа я не заходила дальше порога.

Я отдала ему лист обратно. Наши пальцы не соприкоснулись, но я почувствовала, как у него дрогнула рука, и эта дрожь была хуже прикосновения.

— Завтра лечебница, — сказала я. — Ключ у казначея, но право голоса в хозяйстве у меня по договору. С кого я начинаю? С кухарки или с прачки?

Он наконец посмотрел на меня прямо.

— С кухарки. У нее ожог, она третью смену на маковой припарке, а припарка фальшивая. Степан видел.

Степан. Мой брат, конюх при городской страже, который шарахается от меня в людных местах, но который, оказывается, ходит в замок по вечерам. Я записала это молча, потому что если я сейчас начну спрашивать Вардена про Степана, мы поссоримся до утра.

— Где ключ от лечебницы?

— У казначея. Я принесу.

— Не надо. Я возьму сама. Завтра в шесть утра.

Он кивнул, и в этом кивке было больше капитуляции, чем во всем совете дома. Я пошла к лестнице, прижимая книгу к себе и чувствуя спиной, как он провожает меня глазами до самого поворота. На лестнице я остановилась, потому что каблук застрял в щели между ступенями и хрустнул. Я сняла туфлю, осмотрела сломанный каблук и тихо, сквозь зубы, выругалась. Туфли были мои, не из его дома, и завтра мне придется идти в лечебницу босиком, если я не найду Оксану до утра.

Внизу, под лестницей, служанки Каэлисы уже не было. На подоконнике лежал забытый ею мокрый платок, пахнувший чужими духами. Я подобрала его, свернула и сунула в карман. Рука у меня дрожала, и я впервые за этот день позволила себе признаться, что устала не от работы, а от того, как он стоял у двери и смотрел, словно я уже не имела права уходить.

Я остановилась в коридоре у окна, где с подоконника капала вода. Платок Каэлисы жег мне карман сквозь ткань платья, чужие духи лезли в горло, и я впервые за день подумала, что устала не от советов и не от ключей, а от запаха чужой женщины в доме, где мне теперь жить три луны. Прижала к себе мокрую книгу долгов, вытащила из кармана платок и развернула. На углу, криво вышитой монограммой, стояло «И.Д.», и нитки были свежие, еще блестели. Не подарок. Заявка. Я сложила платок обратно и сунула глубже, в шов подкладки, где его не найдут ни горничные, ни сам Варден.

Тихо прошла по коридору мимо его кабинета, не оглядываясь. Дверь теперь была закрыта, и из-под нее тянуло одеколоном, кедром и горьким апельсином, и я закусил губу, потому что этот запах я выбирала ему сама, когда еще верила, что браслет на моей руке означает брак, а не печать. Дошла до поворота, спустилась на два пролета, заглянула в кухонное крыло. Там пахло подгоревшим жиром и маком, и у плиты сидела кухарка с перевязанной рукой, белая, с черными кругами под глазами. Она подняла голову, увидела меня и сразу отвела глаза, как от чумной.

— Лечебница, — сказала я. — Где ключ?

— У казначея, — она облизнула губы. — Барыня Инесса Даль заперла вчера, после того как господин Торин Ирт велел пересчитать травы.

— Пересчитали?

— Две коробки ромашки сожгли. Сказали, от ящура.

У меня дрогнули пальцы на книге. Ромашка от ящура не помогает, это знает любой подмастерье, а уж советник Торин знает точно, потому что именно ромашкой он когда-то лечил свою жену от лихорадки после родов. Значит, он сжег не траву, он сжег мой вход. Без ромашки я не приму ни одной роженицы, ни одной кормилицы, ни одной служанки с грудницей, и завтра к вечеру весь нижний этаж будет шептаться, что новая жена даже лечебницу толком открыть не сумела.

Я поставила книгу на стол, раскрыла на чистой странице, достала из волос огрызок карандаша.

— Как тебя зовут?

— Дарка.

— Дарка, у тебя ожог, и маковая припарка фальшивая. Кто делал?

— Госпожа Инесса Даль присылала мазь из своего ларца.

— Покажи.

Она размотала тряпку. Под ней кожа вздулась пузырями, белыми по краям, и я узнала запах сразу: не мак, а белена, разведенная на свином жиру. Этой мазью в трактирах смазывают десна младенцам, чтобы спали, когда плачут. Кухарке дали белену как обезболивающее, и если я сегодня не вмешаюсь, к утру у нее начнется гниение, и тогда совет дома получит законный повод сказать, что я, чужая жена, довела кухарку до заражения.

Я стянула с шеи косынку, разорвала ее на полосы, велела Дарке принести воду и чистую кастрюлю. Пока она грела воду, я открыла свой саквояж, вытащила банку с гусиным жиром, щепотку сухого зверобоя и коробочку чистой ромашки, которую всегда ношу с собой на случай, если кто-то из служанок упадет на лестнице. Смешала жир с травой, подогрела на водяной бане, нанесла на чистую тряпку. Дарка зашипела сквозь зубы, но руки не отняла. Я перевязала плотно, поверх положила вторую тряпку, смоченную в холодной воде с каплей уксуса.

— Завтра в шесть придешь ко мне в лечебницу. Не к госпоже Инесса, ко мне. Я вскрою волдыри и поставлю компресс с ихтиолкой, у меня есть с собой. Если к утру поднимется жар, пошлешь за мной Юрку, он знает, где меня найти.

Дарка кивнула, и в глазах у нее впервые появилось что-то живое, не страх. Она посмотрела на мою руку, на браслет, и я перехватила ее взгляд.

— Что?

— Барыня Инесса Даль, — она зашептала, оглянувшись на дверь, — она привезла с собой сундучок, а в сундучке детская рубашечка, маленькая, с гербом, каких я в нашем доме отродясь не видывала. Я слышала, как она приказывала своей горничной спрятать рубашечку в прачечной, под бельем господина Вардена, чтобы никто не видел.

Я замерла с банкой в руке. Детская рубашечка. В прачечной. Под бельем Вардена. Не под моим, под его. Значит, Инесса Даль привезла в замок не просто платок с монограммой, а вещественное доказательство на чужой род, и спрятала его так, чтобы нашли именно тогда, когда нужно будет ударить по Вардену, а заодно и по мне. Если совет найдет рубашечку с чужим гербом среди его белья, печать «исправления клятвы» сгорит в ту же ночь, потому что совет дома получит право объявить брак ложным, а меня — самозванкой.

Я поставила банку, вытерла руки о фартук Дарки и вышла в коридор. Туфли скрипели, сломанный каблук стучал по камню, и я шла быстро, пока не добралась до прачечной, пока каменный пол там еще не высох, пока чужие горничные не разнесли белье по корзинам. Дверь была приоткрыта. Внутри пахло мылом и крахмалом, и в большой плетеной корзине у стены лежало мужское белье Вардена, рубашки, кальсоны, платки. Я опустилась на колени, перебрала ткань за тканью, палец за пальцем, пока под третьей рубашкой не наткнулась на маленький сверток, завернутый в чистую холстину. Развернула. Тонкая детская рубашечка, пожелтевшая от времени, с вышитым на вороте гербом, который я узнала сразу. Это был герб дома моей матери, тот же, что на браслете-улике, который у меня отняли у ворот.

У меня перехватило дыхание. Я сжала рубашечку в руке, прижала к груди, как ребенка, которого у меня не было, и не сразу услышала шаги за спиной. Обернулась. У двери стоял Варден, без полотенца, с мокрыми волосами, и смотрел на меня так, словно я только что вытащила из его груди нож.

— Что это? — спросил он тихо.

Я не ответила. Я поднялась, держа рубашечку за ворот, и развернула к нему, чтобы он видел герб. Потом сложила обратно, спрятала за пазуху, к самому браслету, и впервые за этот день почувствовала, что плачу не от обиды, а от злости, потому что кто-то в этом доме прятал чужого ребенка в его белье, чтобы разрушить то, что и так уже почти разрушено, и этот кто-то знал про мой род, и про мой браслет, и про то, что я обязательно полезу в эту корзину первой.

Я стояла в прачечной, прижимая к груди чужую детскую рубашечку, и слышала, как капает вода с мокрых волос Вардена на каменный пол. Кап. Кап. Кап. Ровно, как часы, которые отсчитывали теперь не три луны, а минуты до того, как он начнет говорить.

— Это не мое, — сказал он. Голос ровный, но я уже знала эту его манеру: чем ровнее голос, тем сильнее он врет или боится. — И не твое.

— Мое, — я разжала пальцы и показала ему ворот. — Герб дома Роговых. Тот же, что на браслете, который у меня отняли у ворот. Это детская вещь, Варден. И она лежит в твоей корзине.

Он сделал шаг вперед, и я отступила, потому что от него пахло кедром и одеколоном, и я не могла думать, когда он пах так близко. Спина уперлась в плетеную корзину, рубашки под рукой были еще теплые от сушки, и я поняла, что бежать некуда.

— Кто-то подбросил, — он остановился в двух шагах. — Инесса приехала вчера с сундучком.

— Инесса Даль, — я повторила имя, и оно обожгло мне язык. — Которая привезла тебе платок с монограммой. Которая заперла лечебницу. Которая сожгла ромашку. И теперь она же подбрасывает в твое белье чужого ребенка, чтобы совет решил, что ты изменял не только ей, но и мне с чужим родом?

Он молчал. Я видела, как дернулся мускул у него на челюсти, как он сжал кулак, и на костяшках у него белели старые шрамы. Потом он поднял руку, и я увидела на его ладони свежий порез, тонкий, аккуратный, по самой линии браслета.

— Я резал застежку сам, — сказал он тихо. — Когда ты ушла. Не совет, не Торин. Я. Потому что совет предлагал тебе ключ от кухни и должность кухарки, а не лечебницу и ключ от архива. Я не мог им это простить.

У меня перехватило дыхание. Он резал застежку сам. Кровь на браслете, которую я заметила еще у порога, это не случайность, не ритуал. Это он сам вскрыл свою печать, чтобы мне дали право, которое совет не хотел давать.

— Зачем? — спросила я, и голос у меня сел.

— Потому что ты умеешь считать долги, — он посмотрел на меня сверху вниз, мокрый, тяжелый. — И потому что в книге дома на твоей девичьей фамилии пустая страница. Я знаю, что ты ищешь. Я не знаю только, что именно вырвали.

Я прижала рубашечку к груди крепче. Она была тонкая, пожелтевшая, с чужой вышивкой на вороте, и от нее пахло лавандой, не кедром. Значит, хранили не здесь. Значит, привезли издалека.

— Если Инесса Даль знает про эту рубашечку, — сказала я медленно, — значит, она знает и про мой род. Значит, ей кто-то рассказал. А кроме тебя, про мой род в этом доме никто не знал.

Варден не ответил. Он стоял передо мной, мокрый, с порезом на ладони, и молчал, и я поняла, что он не защищается. Он ждет, пока я сама пойму то, что он мне сказать не может. И я поняла.

— Торин, — выдохнула я. — Это Торин рассказал Инессе про мой род. Поэтому он и сжег ромашку, и закрыл лечебницу. Он хочет, чтобы я ушла. А Инесса ему нужна, потому что она дочь главы торговой гильдии и может закрыть долги рода без моего браслета.

Варден кивнул. Один раз, тяжело. Потом он протянул мне здоровую руку, и я посмотрела на нее, и на ней были мозоли от меча, и шрам от перстня, и маленькая родинка у большого пальца, которую я целовала когда-то ночью, когда еще верила, что он меня не предаст.

Я заставила его сесть на перевернутое ведро у стены, потому что лавка была занята чужими простынями, а стул в прачечной был только один, и его уже заняла моя злость. Варден сел тяжело, мокрый, с каплями на скулах, и молча положил порезанную руку мне на колени, как кладут вещь, которую не жалко отдать. Я достала из кармана фартука флакон с заживляющей настойкой, который всегда носила с собой, и чистую полотняную тряпицу, оторванную от его же собственной рубашки. Своего белья я в этот дом больше не брала.

Порез был ровный. Не глубокий, но длинный, через всю линию браслета, по самой границе, где кожа становится тоньше. Я намочила тряпицу, прижала к ране, и он дернул подбородком, но руки не отдернул. Я знала, что ему больно, и знала, что он мне это не простит, потому что я лечила, а не жалела.

— Кто зашивал тебе это в прошлый раз? — спросила я, не поднимая глаз. — Такими порезами не бреются, Варден. Ими вскрывают печати.

— Казначей, — ответил он тихо. — Который потом подменил грамоту о разводе. Он же первый узнал, что я собираюсь резать застежку, и принес мне нож. Я думал, он на моей стороне.

Я промокнула порез, налила настойку прямо на рану, и он сжал мою коленку здоровой рукой, коротко, почти случайно, но пальцы у него были ледяные, и я почувствовала, как у меня сжалось горло. Я скинула его руку, не глядя.

— Казначей на стороне того, кто платит, — сказала я. — А платит сейчас Торин, потому что совет уже отдал ему ключи от верхней казны. Это я вчера услышала в людской, когда служанка Каэлисы хвасталась, что ее госпожа скоро будет здесь хозяйкой. Хозяйкой, Варден. Не гостьей. Хозяйкой.

Он смотрел на меня снизу вверх, мокрый, с потемневшими от воды волосами, и я впервые заметила, что у него под глазами легли тени, которых вчера еще не было. Он не спал. Может, не спал с того вечера, как я ушла.

— Я не отдам ей дом, — сказал он.

— Ты уже отдал, — я перебинтовала ему ладонь, затянула узел зубами, чтобы не звать служанку. — Ты отдал его в ту минуту, когда совету понадобилась печать, а ты пошел к казначею, а не ко мне. Если бы ты тогда сказал мне про рубашечку, про мою мать, про пустую страницу в родовой книге, я бы не сидела сейчас в твоей прачечной и не перевязывала бы тебе руку, Варден. Я бы стояла у совета рядом с тобой.

Он опустил голову. По бинту уже проступило красное, но я знала, что это нормально, настойка всегда сначала щиплет, а потом затягивает.

— Я не мог, — сказал он глухо. — Торин сказал, что если ты узнаешь про свою мать раньше срока, ты уйдешь. А я не мог тебя отпустить. Не в эту ночь. Не в ту ночь, когда резал застежку.

Я положила его руку обратно ему на колено, аккуратно, как кладут ребенка в колыбель, и встала. Колени у меня затекли, юбка была мокрая от каменного пола, и детская рубашечка по-прежнему лежала у меня за пазухой, теплая от моего тела, пахнущая лавандой и чужой вышивкой.

— Я не уйду, — сказала я. — Но ты завтра встанешь рядом со мной у совета и сам скажешь, что резал застежку сам. И что грамота о разводе лежит у тебя под полом, а не в верхней казне. И что пустая страница в родовой книге вырвана по приказу Торина, а не по решению дома. Ты скажешь это при всех, Варден. При Торине, при Инессе Даль, при казначее. И если ты этого не сделаешь, я завтра сама отнесу рубашечку в совет, и тогда пусть они решают, кто из нас лжет.

Он поднял на меня глаза. В них не было ни злости, ни страха. Только усталость, и что-то похожее на облегчение, как у больного, которому наконец вправили кость.

— Хорошо, — сказал он. — Утром, до завтрака. Я приду к тебе в лечебницу, и мы пойдем в совет вместе.

Я кивнула, подобрала с пола свой фартук, обмотала им рубашечку, чтобы не пачкать, и пошла к двери. У порога я остановилась, не оборачиваясь.

— И вымой голову, — сказала я. — От тебя пахнет так, будто ты тонул в кедровой бочке. У Каэлисы в свите есть девушки, которые за такое цепляются.

— Отдай рубашечку мне, — сказал он. — Я спрячу ее в тайник, под пол кабинета, рядом с грамотой о разводе, которую совет подменил.

Я не двинулась.

— Сначала порез, — сказала я. — Сядь. И не смей врать мне больше, Варден. Я сегодня уже два раза плакала, и оба раза из-за тебя, и я не хочу третий раз.

Глава 4. Печать на ладони

Глава началась с мелочи, из-за которой обычно рушатся не дома, а остатки доверия. в коридорах пахло воском, сушеными травами и камнем после грозы. в корзине у окна сохли бинты, пахнувшие лавандой и дымом. Я пришла заставить бывшего объясниться при свидетелях, а на столе уже лежал браслет развода, будто кто-то нарочно оставил мне напоминание: бывшие браки не умирают, если их выгодно воскресить.

Варден стоял у дальнего окна. Раньше он занимал пространство так, будто каждая комната была продолжением его приказа. Теперь он держался на расстоянии. Не из благородства, нет. Он все еще учился понимать, что расстояние тоже может быть выбором женщины, а не паузой перед новым требованием.

— Вы опять решили, кем я буду, до моего прихода? — спросила я.

Он не сразу ответил. Слишком длинная пауза для лорда, который привык рубить фразы, как сургуч.

— Я хотел убрать свидетелей, — сказал он наконец.

— Поздно. Они уже видели достаточно: вашу любовницу, мой позор и этот договор.

У него дернулась скула. Маленькая победа, недостойная взрослого человека. Я все равно взяла ее себе. В этом доме мне слишком долго оставляли только обязанности; теперь я собирала даже мелкую справедливость, особенно если она пахла ревностью.

Лина появилась без стука, что в этом доме считалось или дерзостью, или отчаянием. В руках у нее была связка бумаг, ключей и чужих страхов. Бумаги пахли архивной пылью. Ключи оставляли на ладони зеленоватые следы. Страхи были обычные: если правда выйдет наружу, кому-то придется признать, что годами было удобнее молчать.

Я разложила все на столе. Сначала договор. Потом письма. Потом список людей, которые видели Варден с соперницей в ночь моего отъезда. Практическая работа всегда спасала меня от истерики. Когда пальцы заняты чернилами, травами или подписями, сердцу труднее делать вид, что оно главное в комнате.

— Здесь не хватает одного имени, — сказала я.

Лина посмотрела на Варден, потом на меня.

— Его запрещено произносить при вас.

— Очень удобно для живых трусов, — сказала я. — Они тоже редко спорят лично.

Дом ответил не сразу. Сначала погасла свеча у двери. Потом в камине вспыхнул зеленый язык огня, тонкий, сердитый, похожий на травинку, которую забыли вырвать между плитками. браслет развода потеплел у меня под пальцами. Не требовательно. Скорее так, как греется ладонь ребенка, который долго держал в себе чужую тайну.

На стене проступили буквы. Не все сразу. Магия клятв всегда была драматична, особенно когда люди пытались выдать трусость за честь.

Дата.

Час.

Место, где я будто бы застала измену.

И еще одно слово, которое никто не произносил при мне вслух: подстроено.

Я почувствовала, как злость становится холодной. Горячая злость толкает на крик. Холодная заставляет считать. Кто стоял у двери. Кто принес письмо. Кто улыбался слишком спокойно, когда я уходила. И почему Варден молчал, если правда была на его стороне.

— Марьяна, — сказал Варден.

Я подняла руку.

— Не сейчас.

Он замолчал.

Вот так просто. И от этой простоты почему-то стало больнее, чем от прежних приказов. Если бы он умел молчать тогда, когда я просила, сколько всего не пришлось бы чинить теперь? Сколько слов не стали бы шрамами? Сколько ночей я не провела бы, глядя в потолок чужой лечебницы и убеждая себя, что свобода не обязана быть счастливой с первого дня?

— Я не прошу простить, — произнес он тихо.

— Хорошо.

— Я прошу сказать, что нужно для обряда.

Я посмотрела на него внимательнее. Сердце могло дрогнуть от голоса, памяти и того, как мужчина впервые выглядел не властным, а уставшим, но сейчас мне нужна была не нежность. Мне нужна была работа, которую можно проверить.

— Мне нужны ключи, доступ к архиву, право говорить с детьми без надзора и ваш публичный отказ от прежнего брачного решения.

Он побледнел.

— Публичный?

— Проклятие было публичным, милорд. Почему лекарство должно быть стыдливым?

Поворот случился не громко. Никто не упал на колени, не распахнулись небеса, дракон не проревел над башнями. Просто Варден снял с пальца родовой перстень, положил рядом с браслет развода и сказал при свидетелях:

— Без нее ни один приказ по этому делу не имеет силы.

В комнате стало так тихо, что я услышала, как внизу кто-то уронил ложку. Очень человеческий звук. Очень нужный. После всех проклятий, печатей и старых смертей именно он напомнил: жизнь состоит не только из больших признаний. В ней еще есть ложки, холодный чай, неоплаченные счета и дети, которые подслушивают у дверей.

Я не улыбнулась. Рано.

Но браслет развода перестал жечь ладонь.

В коридоре у двери лечебницы кто-то кашлянул. Я узнала этот кашель. Так кашляет кухарка Агриппина, когда у нее обостряется ожог на предплечье, и она стесняется попросить мазь. Я подошла к двери, но не открыла. Лада уже сидела на корточках у стены, рядом стояла тарелка с остывшим отваром, а на тряпице лежал кусок черного хлеба. Лада смотрела на меня исподлобья, как человек, который принес плохую новость и решает, с какой стороны к ней подступить.

— Тут такое дело, — начала она и сразу осеклась. — Тут стража приходила. Не за тобой. За ребенком.

Я присела рядом с ней на корточки, чтобы не смотреть сверху вниз. Так проще спрашивать.

— Какой стража. Что сказал.

— Сын кухарки, тот, который раньше тебе соль носил. Стоял у двери, сапогом ковырял. Сказал, что приходила Каэлиса. Не сама, через свою ключницу. Спрашивала, можно ли забрать девочку на час, покормить с ложки, потому что ребенок скучает по родной груди. Ключница передала, что у нее горячее молоко и чистая рубашка.

Я почувствовала, как у меня свело челюсть. Не от страха. От точной, аккуратной попытки вытащить ребенка из моих рук через жалость.

— Когда это было, Лада.

— Сразу после того, как ты ушла к Вардену. Я сказала, что девочка спит и что я без тебя ребенка не отдам. Ключница ушла, но сказала, что вернется к вечеру с Каэлисой лично. Я сразу к тебе.

— Молодец.

— Я еще хлеба ей отнесла. Ты не сердись.

— Не сержусь.

Я поднялась. В голове уже стоял четкий счет: если Каэлиса явится сама, я не смогу отказать ей в просьбе покормить своего ребенка. Это будет выглядеть так, будто я держу чужого младенца как заложника. Если я соглашусь пустить ее в лечебницу, она войдет в мою комнату, увидит, как устроена печка, где лежат записи, какие травы я использую для ребенка. Если откажу с порога, пойдет слух, что бывшая жена держит малютку в запертой кухне и не пускает мать.

— Варден знает?

— Нет. Я ему не сказала. Решила, что лучше тебе.

— Правильно решила.

Я зашла в лечебницу. Девочка спала на лавке под липовым отваром, руки раскинуты, подбородок мокрый от слюны. Родовой браслет матери, которым она была запелената, я сняла и положила под лавку, в коробку с сухой мятой, чтобы он не грел кожу. Я не хотела, чтобы кто-то с порога увидел герб. Герб — это приказ. Приказы в этой кухне сейчас буду отдавать я.

Я взяла полотняный узел, завернула девочку в чистую пеньковую рубашку, поверх положила кусок грубого сукна, от которого пахло полынью. Не родовой запах, не запах дома. Запах моей лавки. Если Каэлиса увидит ребенка запеленатой в чужое, она поймет границу сразу, без слов.

— Лада. Мне нужна твоя помощь.

— Что делать.

— Когда Каэлиса придет, ты будешь у двери. Скажешь, что я в лечебнице, у ребенка лихорадка, я никого не пускаю, потому что лихорадка заразна. Скажешь это громко, чтобы слышала стража. Если начнут ломиться, скажи, что я выйду через минуту и сама скажу, как ее зовут. Девочку зовут Лиза. Имя знают все, его не скроешь. Но скажу его я, и скажу на крыльце, где меня слышит стража. Не за порогом, не через стену.

— А если она начнет кричать, что мать имеет право?

— Тогда я выйду и скажу ей при страже, что я лекарь дома Ирт по договору исправления клятвы, и по праву голоса лекаря ребенок находится под моей опекой до решения совета. Это написано черным по белому. Монах подтвердил. Если Каэлиса не верит, пусть идет к Гордею Вязу, он подтвердит.

Лада сглотнула.

— А если она все равно войдет?

— Тогда я встану между ней и ребенком. И скажу Вардену, что его фаворитка пришла забирать чужого ребенка из чужой комнаты. Это не моя ссора. Это его позор.

Лада кивнула. Я видела, как у нее подрагивают пальцы. Она боялась Каэлису больше, чем меня. Но она пошла к двери.

Я вернулась к столу. На полке стояли четыре баночки с мазью. Одна с липовой, для ребенка. Вторая с календулой, для ожогов, я готовила ее для Вардена. Третья с мятой, для нервов. Четвертая была пустая, с этикеткой «от чесотки», я собиралась отдать ее кухарке Агриппине. Я сняла пустую банку, поставила на стол, налила в нее чистой воды из кувшина и поставила на печку. Пусть греется. Если Каэлиса войдет, у меня будет горячая вода, чистая тряпица, и я при всех, при страже, при ключнице, вымою ребенку лицо. Пусть смотрит. Пусть видит, как я это делаю.

Когда вода начала тихо посвистывать, в дверь постучали. Стук был негромкий, но уверенный. Так стучит женщина, которая имеет право стучать.

Я вытерла руки о фартук, подошла к двери и открыла сама.

На крыльце стояла Каэлиса. Не ключница. Сама. В простом шерстяном платье, без украшений, волосы убраны под платок, на руках — ни одного кольца. Это было ее ошибкой. Она пришла как мать, а не как жена советника. Это означало, что у нее кончились доводы, осталось только тело.

За ее спиной стояла ключница с кувшином молока, прикрытым чистой тряпичей.

— Госпожа Рогова, — сказала Каэлиса, — я пришла к своему ребенку. Мне сказали, что вы не пускаете мать.

— Я не пускаю никого, у кого в доме лихорадка. Ребенок сегодня ночью плакал без причины, я дала ей липовый отвар, температура спала, но я не знаю, что будет к вечеру. Если вы зайдете и заразитесь, мне придется лечить вас. Я обязана по договору.

— Я мать. Я имею право.

— Вы имеете право забрать ребенка после решения совета. До решения совета ребенок находится под опекой лекаря дома Ирт. Это написано в договоре исправления клятвы и подтверждено монахом храма сегодня утром. Если вы сомневаетесь, идите к Гордею Вязу, он стоит у казначейской стойки. Он подтвердит.

Я видела, как у нее дрогнула щека.

— Вы держите моего ребенка, как в тюрьме.

— Я держу ребенка в тепле, в чистой рубашке, с браслетом матери, который вы сами на нее надели вчера утром. Я не снимала его, пока он не начал жечь ей кожу. Тогда я сняла и положила в коробку с мятой, чтобы металл не прикипел. Если вы хотите зайти и проверить, я впущу вас, но в платке и без верхнего платья. Мне нужно видеть, что на вас нет шерсти, от которой ребенок может задохнуться.

Она посмотрела на меня так, будто я ударила ее. Не по лицу. По тому месту, где у женщины сидит уверенность, что она мать и ей обязаны.

— Вы не посмеете, — сказала она.

— Я лекарь. Я обязана. Войдете — не пожалеете. Не войдете — тем более. Идите к Гордею. Он подтвердит каждое мое слово.

Она развернулась и пошла по двору. Ключница за ней, с кувшином молока. У колодца Каэлиса остановилась, повернулась и сказала так, чтобы слышала стража:

— Я все равно ее заберу.

— Заберете, — ответила я. — После решения совета. Не раньше.

Она ушла. Я закрыла дверь, привалилась к ней спиной и почувствовала, как у меня трясутся колени. Лада сидела на корточках у стены, прижимая к груди кусок хлеба.

— Ты слышала, — сказала я.

— Слышала.

— Завтра она приведет Торина. Или сама придет ночью. Я не выдержу второй раз такой стук. Поэтому сегодня я перенесу колыбель к себе в угол. Спать буду на полу, у печки. Ребенок будет спать у меня под боком.

Лада не ответила. Она смотрела на меня так, будто впервые увидела. Потом тихо сказала:

— Я тебе постелю. У меня есть слепый тулуп, от Вардена остался, он маленький, но мягкий.

— Постелем оба. Только не касайся браслета матери, когда будешь его класть под лавку. Если он нагреется, скажи мне сразу.

Лада кивнула и полезла под лавку. Я стояла у двери и слушала, как тихо посвистывает вода в банке на печке. За стеной кто-то снова кашлял. Кухарка Агриппина. Я вспомнила, что обещала ей мазь от ожога, и не отдала. Завтра отдам. Если доживу.

Я подошла к столу, открыла тетрадь и вписала пятый пункт под тремя уже записанными: «Если Каэлиса войдет ночью, разбудить Вардена. Не лакея, не стражу, его лично. Сказать, что бывшая фаворитка лезет в комнату ребенка». Пункт получился длинный. Я не стала зачеркивать.

Потом села на лавку рядом с колыбелью, положила руку на грудь девочки и стала считать удары. Сердце у нее билось спокойно, ровно, без перебоев. Хороший ребенок. Не мой. Не Каэлисы. Ничей. Пока ничей. До решения совета.

Я закрыла глаза. Тетрадь лежала рядом. Браслет развода на столе больше не жег. Я подумала, что надо будет утром спросить у Вардена, не сжег ли он свой браслет случайно, потому что оба молчат с зимы, а молчание не отменяет клятв. Потом подумала, что сначала надо пережить ночь.

Я зажгла вторую свечу. Тетрадь отодвинула на край, чтобы на нее не капнул воск. И стала ждать ужина.

Стук в дверь лечебницы раздался ровно тогда, когда я успела убрать браслет развода под крышку перевязочного стола. Не громкий, не робкий, служебный, три сухих удара костяшкой. Так стучат люди, которым положено ждать у порога, пока им не откроют.

— Кто? — спросила я, не двигаясь с лавки.

— Казначей прислал, милая. С запиской. Открывать или подождешь?

Голос принадлежал кухарке Агриппине, той самой, которой я утром перевязывала ожог. Она пришла не одна, я слышала шорох второй юбки за косяком. Значит, записка была не от казначея, иначе Агриппина не привела бы свидетеля.

— Открывай, — сказала я и натянула фартук повыше, закрывая вырез рубашки.

Агриппина вошла, за ней кухонная девчонка с ведром помоев. Девочка поставила ведро у порога и осталась стоять, делая вид, что ждет, пока ей разрешат уйти. Хитро. Если я ее прогоню, она побежит докладывать, если оставлю, она услышит каждое слово.

— Давай записку, — я протянула руку.

Агриппина достала из-за фартука сложенный вчетверо листок, простая бумага, без герба, без сургуча. Я развернула и прочла. Почерк казначея, крупный, с наклоном, я видела его подпись на реестре утром. Три строки:

«Лекарь дома Ирт. Совет требует завтра к полудню явиться в большой зал для подтверждения права голоса. При себе иметь личную печать или иной знак, что вы та, за кого себя выдаете. Ключ от архива будет выдан только после присяги свидетелем дома. Казначей».

Я перечитала дважды. Вот и цена. Не деньги, не клятва. Личная печать. У меня не было печати. У меня была только подвеска матери в подкладке рукава, браслет-улика под рукавом и тетрадь, в которой я четыре раза подчеркнула, что не верю первому хорошему поступку Вардена.

— Что там, милая? — спросила Агриппина, не двигаясь.

— Совет просит меня подтвердить, что я это я, — сказала я. — Как будто меня можно подменить.

— Так они и хотят подменить, — Агриппина сплюнула в угол, не стесняясь девчонки. — Ты вчера Вардена перевязала, он тебя при всех назвал своей женой, теперь совет спохватился. Без печати ты гостья, с печатью ты лекарь с голосом. А им выгоднее гостья.

Я сложила записку и спрятала в карман передника, к детской рубашке с гербом.

— Где Варден сейчас?

— В кабинете, — Агриппина понизила голос. — Торин с ним, слышала через кухонную дверь. Торин кричал, Варден молчал. Потом Торин вышел, Варден остался.

Я кивнула. Значит, Варден сейчас один, без свидетелей, и это было хорошо. Мне нужно было попасть к нему до утра, получить ключ от архива или хотя бы обещание, что ключ будет, и решить, что делать с печатью. Печати у меня не было. Печать можно было вырезать из медной монеты за полчаса, но совет примет медную монету только от главы дома. Мне нужна была печать Вардена, а точнее, его разрешение поставить рядом с моей меткой его родовой знак. Брак, клятва, подпись. Я стиснула зубы.

— Спасибо, Агриппина. Девчонку отпусти, я ей ничего не скажу.

Кухарка кивнула, девочка подхватила ведро и исчезла за дверью. Агриппина задержалась.

— Милая. Варден после твоего ухода из зала велел кухарке принести тебе ужин в лечебницу. Лично велел, не через слугу. Я несла. Горячее, под крышкой.

— Спасибо.

— И еще, милая. Инесса у камина в малой приемной сидит с ребенком. Ребенок плакал. Инесса его не кормила, просто держала на руках и смотрела в огонь. Я подошла спросить, нужна ли помощь, она сказала «не лезь, кухарка».

Я молчала. Инесса сидела с ребенком и смотрела в огонь, это было хуже, чем если бы она плакала или кричала. Это было решение.

— Иди, — сказала я. — Если ребенок заплачет снова, зови меня, не Инессу.

Агриппина ушла. Я осталась одна с запиской в кармане и колыбелью у стены.

До полуночи я успела сделать три вещи.

Первое: перепрятала браслет-улику матери из-под рукава в голенище сапога, потому что на левой ноге у меня утром ломался каблук и я знала, что стражник у двери потребует снять все украшения перед входом в большой зал. Браслет на голенище не видно.

Второе: достала из-под крышки перевязочного стола браслет развода и положила в карман передника поверх записки казначея. Два металла, две клятвы. Если завтра меня спросят, кто я, я покажу обе.

Третье: написала на клочке бумаги три слова «нужен ключ» и оставила на столе у чайника, который принес Варден. Если он придет до утра, он увидит. Если не придет, я пойду к казначею сама и буду требовать ключ по праву лекаря дома, а если он откажет, я напому ему, что подпись лекаря под договором исправления клятвы уже стоит, и без меня совет не имеет права вскрыть ни один ларь.

В полночь я легла на лавку, не раздеваясь, положив руку на грудь девочки в колыбели. Сердце у нее билось спокойно. Хороший ребенок. Завтра ей впишут имя или не впишут, но сердце у нее будет биться в любом случае.

За два часа до рассвета дверь открылась без стука. Я не шевельнулась, только приоткрыла глаза. Варден. В плаще, в мокрой рубашке, с черной прядью, прилипшей к виску. Он увидел записку на столе, прочел, поднял глаза на меня.

— Ключ будет, — сказал он тихо. — Казначей отдаст утром, я с ним говорил.

— Мне нужна не только ключ, — сказала я, садясь. — Мне нужна печать. Личная. Совет потребует.

Он снял плащ, повесил на крюк, подошел к столу. Выдвинул ящик, в котором я утром прятала мазь из листьев ольхи, достал оттуда небольшой медный кружок с грубо вырезанной буквой «М». Моя печать. Я забыла, что она лежит в этом ящике с зимы, с тех пор как я перестала быть женой и стала травницей.

— Твоя, — сказал он. — Я хранил.

Я взяла кружок, повертела в пальцах. Буква стерлась, но узнавалась. Мне стало стыдно за то, что я четыре раза подчеркнула в тетради, что не верю ему. Я не сказала этого вслух.

— Спасибо, — сказала я.

Он кивнул, налил себе воды из кувшина, выпил, поставил кружку. Потом сказал:

— Инесса просила увидеть ребенка утром.

— Нет, — сказала я. — После совета.

Он не спорил. Постоял, глядя на колыбель, потом повернулся к двери.

— Варден, — позвала я.

Он остановился.

— Завтра я буду твоей женой при свидетелях. Только завтра. После совета мы поговорим.

Он не ответил, но плечи у него опустились, как будто он снял с себя что-то тяжелое и не знал, куда положить. Вышел. Я легла обратно, положив руку на грудь девочки, и стала ждать утра.

Перед сном я пересчитала травы. Привычка старая, кухарская, но сегодня она меня спасла: на верхней полке липового цвета осталось ровно на две заварки, мяты на одну, и ни одного корня девясила. Лечебница к утру будет пустой, если совет захочет показать совету, что я держу слово.

Я зажгла огарок свечи и спустилась в нижнюю кладовую. Здесь пахло каменной мукой и старой солью. На крюке у двери висела связка ключей от кухонных ларцов, и я узнала один из них — медный, с зеленоватым следом на бородке. Казначей. Значит, кладовая под общим замком, и Варден уже сдал ключи.

Внутри было холодно. На верхней полке стояли мешочки с подписью кухарки: «липа», «мята», «зверобой», «кора». На нижней — банки с мазями. Я открыла одну: внутри была не мазь, а сухая травяная пыль, пахнувшая горелым. Я растерла щепотку между пальцами. Полынь, подкрашенная чем-то сладким, чтобы пахло как лекарство. Подмена, старая, аккуратная. Если бы я не знала запах полыни от подлинной мяты, я бы взяла и сварила.

Я сняла все мешочки с верхней полки и разложила на столе у двери. Из пяти мешочков с подписью «липа» три были набиты сухой пылью, в одном оказалась мать-и-мачеха, в одном — настоящая липа, и та на донышке. Из «мяты» две банки оказались пустыми, в третьей была сушеная крапива. «Зверобой» оказался зверобоем, но прошлогодним, без цвета. Кора — ивовая, не дубовая. Я переписывала каждое расхождение на обрывке пергамента, и руки у меня горели.

В кладовую заглянул ночной кухонный мальчишка, лет тринадцати, с тряпкой через плечо.

— Чего тут? — спросил он.

— Лекарский учет, — ответила я. — Где ключ от нижнего ларца?

Он показал на связку. Я сняла второй ключ, медный, без отметки, и открыла нижний ларь. Внутри лежали мешочки без подписей, перевязанные простой нитью. Я раскрыла один: сухой корень девясила, плотный, темный, как и должно быть. Раскрыла второй: дубовая кора. Третий: сушеная календула, яркая, не выцветшая. Нижний ларь был настоящим. Верхний — витриной для тех, кто не умеет нюхать.

— Кто набирает травы в верхние мешочки? — спросила я.

— Подавальщица, — сказал мальчишка. — Та, что ходит с повязкой на запястье.

Подавальщица с повязкой. Я вспомнила: на кухне утром подавальщица в дорогом переднике, с платком, повязанным низко, как носят в торговых домах, а не в кухонной прислуге. Лицо знакомое. То самое, что мелькало у дверей малой приемной, когда Инесса приходила к Каэлисе.

Я переписала находку, свернула пергамент и спрятала в карман передника, рядом с детской рубашкой. Мальчишка смотрел на меня круглыми глазами.

— Скажи кухарке, что я переписала лекарскую полку и завтра принесу ей отчет. Скажи, что липа у нее подменена, и если совет спросит, почему лечебница пуста, ответ готов: потому что в доме нет ни одного настоящего мешочка с липой.

Он кивнул и убежал, шлепая босыми пятками по каменному полу. Я заперла кладовую, повесила ключи на место и пошла обратно по темному коридору. На лестнице у третьей ступеньки у меня снова хрустнул каблук, и я остановилась, пережидая, пока стихнет звук. Где-то внизу капала вода в каменный желоб, ровно, тяжело, как метроном.

В лечебнице девочка спала, подложив кулачок под щеку. Я поправила ей одеяло, убрала свой локоть с края стола, чтобы не мешать, и села писать.

Утром я показала Вардену пергамент.

Он стоял у окна, уже в сухом плаще, уже пахнувший чужим одеколоном, но я не стала об этом думать. Я положила перед ним пергамент и список из шести подмен.

— В верхней кладовой пять мешочков из семи подменены, — сказала я. — Кто-то аккуратно сделал так, чтобы лечебница выглядела полной, а лечить было нечем.

Он прочитал, не переспрашивая.

— Подавальщица с повязкой, — сказал он.

— Да.

Он помолчал, глядя на пергамент.

— Инесса?

— Не знаю, — ответила я честно. — Знаю, что она ходит к Каэлисе. Знаю, что у подавальщицы платок, как у прислуги торгового дома. Больше пока ничего.

Он сложил пергамент и спрятал во внутренний карман камзола.

— Я заберу подавальщицу сегодня до обеда, — сказал он. — Тебе это не нужно делать самой.

— Не нужно, — согласилась я. — Но мне нужно, чтобы лечебница к утру была полной. Липа, мята, девясил, кора дуба. Я дам список кухарке, она соберет по своему ларцу.

Он кивнул.

— Список дай мне. Я отнесу кухарке сам, чтобы тебя не дергали на кухню.

Я посмотрела на него. Утренний свет из окна падал ему на скулу, там, где вчера я видела черную прядь, прилипшую к груди. Сегодня он был сухой, одетый по чину, с цепочкой печати поверх камзола. Но голос у него был ровный, как у человека, который ночью что-то решил и больше не собирается это обсуждать.

— Хорошо, — сказала я.

Он вышел. Я осталась одна с ребенком, с огарком свечи, с пергаментом, который уже лежал в его кармане. Внизу уронили ложку, и звук прокатился по каменному полу, долгий и тяжелый. Я записала в тетрадь пятый пункт: лечебница наполнена подменой, подавальщица с повязкой, кухарка ни при чем.

Потом добавила шестой: если совет спросит, почему я ничего не сделала с подменой, ответ готов — я сделала, утром, при лорде.

Ночью я записала три пункта в рабочую тетрадь: проверить северную галерею, поговорить с Теоном, не верить первому хорошему поступку Варден больше, чем он заслуживает.

Последний пункт я подчеркнула дважды.

Потом добавила четвертый: купить нормальный чай. Если уж спасать проклятый драконий род, то хотя бы не на этой горькой бурде.

Глава 5. Письмо из архива

5. Письмо из архива

Ключ от архива лежал у казначея до утреннего света, и я забрала его первой, пока коридор пах известкой и холодным камнем. Медная бородка обожгла пальцы: видимо, держали на подоконнике всю ночь, и металл забыли согреть. Я сжала его в кулаке поверх браслета-улики и пошла мимо лестницы, мимо портрета первой жены лорда Ирты — той, с кем Варден якогда стоял в первом браке, по слухам, — к низкой двери без таблички.

Замок здесь не любили. Дверь даже не скрипнула, открылась с тем тяжелым вздохом, каким открываются вещи, которыми давно не пользуются. Внутри пахло пылью, сургучом и сырой кожей переплетов. Я зажгла свечу сама, не стала ждать слугу — слуга в замке Ирты это лишние глаза.

Книга долгов дома лежала на третьей полке, такая толстая, что страницы загибались от собственной тяжести. Я открыла на развороте, где год совпадал с моим рождением, и начала считать столбцы. Цифры были ровные, красивые, ненавистные — каждая строка это чья-то поруганная свадьба, чья-то подпись, чей-то заем под честное слово. Столбец «выдано» сходился с «возвращено» через год с разницей в две монеты. Мелкий долг, из которого меня когда-то вычеркнули.

Я нашла свою фамилию на седьмой строке сверху: «Рогова, вдова Рогова, приданое по первому браку — возвращено в казну дома Ирты при расторжении клятвы». Под записью сухое пятно, будто кто-то капнул чернилами и не стал подтирать. Рядом — росчерк писаря, того самого казначея, и оттиск малой печати дома. Я перерисовала строчку на обрывке пергамента, свернула вчетверо и спрятала в подкладку рукава.

Это была не правда. Эта запись была не про мою мать.

Я зажгла вторую свечу и поднялась на верхнюю полку, где стояли родовые книги. Три толстых тома в кожаных переплетах, каждый с серебряным замочком на груди. Первый — записи о рождении. Второй — записи о браках. Третий — записи о смерти. Мне нужен был второй.

Замок на обложке не поддавался. Я попробовала ключ от двери архива — не тот. Попробовала отмычкой из своего саквояжа, тонкой, как жало, — не та. Тогда я просто налегла ладонью на кругляш с гербом, и металл обжег кожу через браслет-улику. Книга открылась сама, как будто ждала меня дольше, чем я ждала.

Страницы желтели от старости. Записи шли столбцами: год, имя невесты, имя жениха, отметка о приданом, отметка о детях. Я перелистывала ровно, не торопясь, и привычно отмечала глазами знакомые фамилии. Под третьим переплетом нашла вырванную страницу: грубый рваный край, торчащие нитки переплета. На полях, ниже обрыва, кто-то позже вписал одно слово — «Рогова».

Рука у меня дрогнула. Не от неожиданности, от подтверждения. Я ждала этого вырванного куска два года, ехала в эту кровать за этим куском, глотала чужие духи на мужском шарфе и терпела ужин в одной комнате с бывшим — за этим вырванным краем.

Я поднесла свечу ближе. На обрезе страницы остался след чернил: я прочла «Рогова А., девица, придано внесено», и дальше шло обрывок слова на «д». Роды. Рожала. Я не знала, что мать когда-либо рожала в этом замке. Оксана рассказывала мне о ней скупое, как умеют рассказывать те, кто сам боялся спросить.

За спиной скрипнула половица. Я не вздрогнула — только медленно закрыла книгу и зажала угол пергамента под большим пальцем. Шагов было два. Один длинный, мужской. Другой короткий, почтительный, женский.

— Рогова, — сказал голос Вардена из-за стеллажа, и я услышала в этом слове ту же тяжесть, что стояла за обрезом страницы. — Вы здесь не должны быть.

Женский шаг был за его спиной — Инесса Даль, судя по запаху розовой воды, который я терпеть не могла с детства. Я не обернулась.

— Я в архиве, — сказала я ровно. — Это мое право по договору. Я хозяйка.

— Хозяйка не открывает родовую книгу раньше срока, — голос Инессы, мягкий, как бархат на битом стекле. — Это невежливо, сестра.

Я убрала пергамент в рукав глубже, под браслет-улику, и только тогда повернулась. Варден стоял у стеллажа, и его взгляд остановился на моем запястье ровно на секунду дольше, чем нужно. Инесса — по правую руку от него, ближе, чем следовало бы стоять жене лорда другой женщине. На ней было платье цвета утреннего молока, и подол его был слишком чист для замка, в котором только что прошла гроза.

— Я смотрела книгу долгов, — сказала я. — Свою запись я нашла. Запись о моей матери — нет. Ее страница вырвана.

Варден молчал. Инесса чуть сжала его локоть, и это прикосновение было старым, привычным, хозяйским. Я видела такие прикосновения у Оксаны и Степана, у тех, кто имеет право. У меня такого права никогда не было.

— Это не ваше дело, — сказала Инесса. — Книга закрыта для вас до срока.

— Книга закрыта для меня советом, — ответила я. — Я сейчас в архиве, а не у совета.

Варден сделал шаг вперед и остановился. Между нами осталось полтора шага — расстояние вытянутой руки и мужского пояса. На его груди брачный браслет лежал поверх рубашки, и металл в утреннем свете был тусклым, как старая медь.

— Покажите, что у вас в рукаве, — сказал он тихо.

Я не двинулась. Под моими пальцами лежал обрывок страницы с моей фамилией, и я не собиралась отдавать его ни ему, ни ей, ни совету, ни этой комнате, где пахло розовой водой и чужими правами.

— Нет, — сказала я.

Инесса вдохнула так, как будто я ее ударила. Варден не двинулся. Только качнул головой, едва заметно, и в этом жесте было что-то от того старинного устава, по которому меня когда-то вычеркнули из дома без моего ведома.

— Рогова, — сказал он. — Это не ваш дом.

Слово «не ваш» ударило меня в грудь глуше, чем хлопок двери. Я положила ладонь на угол стеллажа, потому что колени качнулись — не от страха, от того, что меня снова вычеркивают из дома, в который я не просилась, по тому же движению головы, по тому же взгляду сверху вниз.

Я сделала шаг назад. Медленно, ровно, держа спину так, как учили в храме — не как жену, как травницу, у которой руки честнее, чем чужие кресла. Пергамент ушел глубже в рукав, лег под браслет-улику, и кожа на запястье обдала холодком — металл почуял ложь или мою кровь, я уже не разбираю.

— Я в архиве по праву, — сказала я не Инессе, Вардену. — Договор подписан, ключ утром и вечером у меня в руках. Книга долгов открыта мне до захода солнца.

— Книга долгов открыта, — повторил он за мной, и в его голосе не было согласия. — Родовая книга закрыта. Я не давал права трогать второй том.

Я кивнула, потому что это была правда. Я не имела права трогать родовую книгу. Я это сделала, и сделала бы снова, даже если бы в рукаве у меня лежала не бумажка, а его собственная подпись.

— Что у вас в рукаве, — повторил он уже без вопросительной ноты, как приказ, и его пальцы легли на мое запястье поверх ткани. Не грубо, но так, как берут чужую руку, чтобы проверить пульс, — с правом.

Я не отдернула. Убрала руку только когда он сам разжал хватку, глядя при этом не вниз, а мне в глаза. Под его пальцами остался теплый отпечаток, и я ненавидела себя за то, что заметила, как жжет.

Инесса стояла в шаге, сложив руки у пояса, и на ее лице было то самое выражение, которое я видела у кухарки, когда та считала чужие деньги, — вежливое, голодное, ждущее. Я знала эту маску. У Оксаны она появлялась, когда гильдия забирала у нас за лечебную траву недоплату.

— Лорд Ирт, — сказала Инесса мягко. — Эта книга была закрыта вашим дедом. Девушка нарушила запрет. Вы можете отобрать ключ и отослать ее в комнату до срока.

Слово «девушка» обожгло меня сильнее, чем «не ваш дом». Я — Рогова, вдова, лекарь, мать, как бы она меня ни называла. Я сделала полшага к двери, между мной и Варденом осталась ровно вытянутая рука.

— Ключ я отдам казначею на закате, — сказала я Вардену. — Ни минутой раньше. Договор не нарушен. Родовую книгу я больше не трону. Мне нужна была только запись о моей фамилии, и я ее увидела.

Варден не ответил. Я видела, как у него на скуле дернулась мышца — старая, привычная складка, когда он держал слова в зубах, не давая им выйти. Он держал меня в этой комнате взглядом, как держат мятежника, не веря и не смея тронуть.

— Покажите, что у вас в рукаве, — сказал он третий раз, тише и медленнее, как будто у меня было право не услышать. — Я сам решу, нарушен запрет или нет.

Меня задело «сам». Не «мы с советом», не «мы с Инессой». Сам. Я прижала кулак к груди и почувствовала, как обрывок страницы колет ладонь через рукав.

— Я не покажу, — сказала я.

Варден сделал вдох, и на его ребрах вздрогнула ткань. Я знала эту дрожь. Я видела шрам под рубашкой два вечера назад, когда лечила ему порез, — старый ожог в форме родовой печати, такой же, как металл у меня на запястье. Я перевязывала ему рану, чувствуя под бинтом этот рисунок, и молчала.

Ту молчание повисло бы и сейчас, если бы Инесса не шагнула ближе. От нее пахло розовой водой и чужими деньгами, и я вдруг поняла, чего она хочет на самом деле. Не ключа. Не книги. Меня за порог этого архива, чтобы я оставила им с Варденом то, что между ними было или не было.

— Лорд Ирт, — повторила она, — у вас в доме чужая женщина с чужой уликой.

Я не стала слушать. Присела в поклоне — не ей, Вардену, как хозяйка дома кланяется хозяину, ровно на полголовы, — и прошла мимо Инессы к двери. Инесса вдохнула, но не двинулась. Варден посторонился ровно настолько, чтобы я не задела его плечом, и на миг, на один удар сердца, его грудь оказалась рядом с моей, и я снова почувствовала под рубашкой горячую рельефность старого шрама. И жар чужого тела. И тот запах воска, дождя и его кожи, который я терпеть не могла и узнавала из тысячи.

Я перешагнула порог. В коридоре было холодно, и каменный пол под подошвами холодил так, будто в замке никогда не топили. Ключ от архива я держала в левой руке, обрывок страницы — в правой. Я прошла мимо портрета первой жены лорда Ирта и не подняла глаз. Мне было не до мертвых. Мне было до живых — до моей матери, до ребенка с чужим гербом, до меня самой в этом доме, который не мой и в котором я все равно стояла на своем.

Я вышла из архива, не оглядываясь. Коридор вниз был узким, сырым, и на третьей ступеньке каблук у меня подломился — старый, стоптанный, тот, что я чинила сама три раза и который все равно не хотел держать форму. Я стиснула зубы, чтобы не выругаться вслух, и оперлась свободной рукой о стену. Под пальцами была прохладная штукатурка, и крошка от нее осталась на браслете-улике.

Обрывок страницы жег мне ладонь. Я не стала его разворачивать здесь, в коридоре, где каждый слуга мог вынырнуть из-за поворота с кувшином или с подслушиванием. Я прошла до низкого окна, за которым был виден только кусок задней стены и мокрая от вчерашнего дождя брусчатка, и там, в нише, где когда-то стояла забытая кем-то ваза, я раскрыла ладонь.

Это была не страница. Это был клочок, оторванный неровно, с бахромой на месте, где когда-то была строчка. Чернила на нем выцвели, но фамилия читалась, и дата читалась, и я сама, с моей девичьей фамилией, читалась. Рогова. И рядом — Рогова. Женская рука, мужское имя матери, дата, совпадающая с моей. Под датой кто-то поставил знак вопроса и стер, но знак проступал, как след от вытащенного гвоздя.

Я перечитала трижды. Потом еще раз. В конце клочка было слово «выдана». Остальное было оторвано.

Кухарка вышла из кухни с ведром помоев, увидела меня, замялась и пошла обратно. Я спрятала клочок в карман передника, под ключ от архива и под свой собственный медный знак травницы. В нише стало тесно.

Мне нужна была копия. Не этого клочка — мне нужен был оригинал, или хотя бы запись, где можно прочесть, кому и зачем выдана грамота о моей матери. Я не знала, выдана — это в смысле «выдана замуж», или «выдана из дома», или «выдана на руки». У нас в лавке слово «выдана» чаще всего означало третье: траву выдают покупателю под расписку и под честное слово.

Я вернулась к лестнице и поднялась наверх, в кухню. Кухарка уже стояла у стола и резала хлеб, и при виде меня она не перестала резать, но нож замедлился. Я положила ключ от архива на полку рядом с мешком крупы, там, где казначей его обычно находил по утрам.

— Ложись, — сказала я кухарке. — Я тебя еще не долечила.

Она замотала головой. У нее был такой же упрямый вид, как у меня, когда мне в храме говорили «не лезь в чужую родовую книгу».

— Я не лягу, хозяйка. У меня тесто.

— Тесто подождет. Ожог — нет. Если ты завтра не сможешь держать сковороду, мне придется искать другого повара, а у меня нет денег тебе платить.

Она фыркнула, но пошла за мной к лечебному углу. Я велела ей сесть на низкую табуретку, размотала повязку, осмотрела ожог. Кожа под ней порозовела, опухоль спала, но края все еще были стянуты, и я знала, что без мази с календулой и живицей это заживет неделю, а с мазью — три дня. Я достала из своего узелка баночку с густой желтой мазью, от которой пахло пчелиным воском и немного дымом, и начала накладывать компресс.

— Ты что-то нашла, — сказала кухарка, не поднимая глаз.

Я не ответила. Она усмехнулась:

— У тебя карман оттопырен. И руки пахнут старой пылью, как из верхних комнат, куда нас с самого начала не пускают.

Я перестала размазывать мазь. Посмотрела на нее. Кухарка была из тех, кто не выдаст чужой тайны, если тайна касается ребенка или больного, но выдаст все, что касается хозяйских денег и хозяйского постельного белья. Мне нужно было понять, к какой категории она отнесет мою находку.

— Я нашла клочок, — сказала я. — С моей фамилией и датой. Кто-то вырвал страницу из родовой книги замка.

Она перестала улыбаться.

— Из родовой? — переспросила она. — У нас в роду не рожали чужих.

— У нас, — повторила я. — Не в вашем роду. В моем. Кто-то из моего рода рожал в этом замке, задолго до меня. У него спрашивали, выдана ли ему грамота, и ответили «выдана». Дальше запись оборвана.

Кухарка задумалась. Я знала, что она думает: кому это выгодно, чтобы страница пропала, и кто мог ее вырвать. В этом доме подозревать стоило в первую очередь Торина, во вторую — казначея, в третью — любую женщину, которой было выгодно, чтобы моя фамилия в родовой книге не значилась.

— Никому не говори, — сказала я. — Ни Вардену, ни совету, ни этой Инессе, если она тут появится.

— Инесса здесь, — сказала кухарка тихо. — С утра в малой приемной, с подарками. У нее в корзине пеленки для ребенка и фамильный браслет дома Даль. Я видела, когда несла ей воду.

Я перестала дышать на секунду. Инесса здесь, в замке, с пеленками и с фамильным браслетом, и фамильный браслет — это заявка. Это публичное объявление, что она в этом доме не гостья, а будущая жена.

Я замотала кухарке ожог, велела не снимать повязку до вечера и пошла к себе в лечебный угол. Мне нужно было переписать клочок, пока буквы не стерлись от пота и ткани. Я достала из-под лавки чистый лист, огрызок карандаша, и переписала слово в слово: «Рогова», «выдана», «знак вопроса стерт», «дата совпадает». Под датой я добавила: «запись уничтожена». Перечитала, подумала и добавила: «спросить у казначея, кому выдаются грамоты о браке и о выдаче из дома».

Я спрятала переписанный лист под обложку молитвенника, который нашла тут же, на полке, с засушенной лавандой между страниц. Клочок я убрала обратно в карман передника, к ключу.

На пороге лечебницы стоял Варден. Он не вошел, он ждал. У него в руке была тарелка с кашей и кусок хлеба, и от еды шел пар, и я поняла, что он нес мне завтрак. Он смотрел на меня так, как смотрит человек, который знает, что я что-то нашла, и не хочет спрашивать, потому что тогда придется решать, что с этим делать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.